

Митч Элбом



Величайший урок жизни, или Вторники с Морри

*Митч Элбом – писатель, который заново учит нас
простым радостям жизни – вере, любви и пониманию.*

MITCH ALBOM
Tuesdays with Morrie

Annotation

Как часто мы забываем о простых радостях жизни и погружаемся в суету и рутину повседневности?

Как часто считаем себя несчастными, забывая, что нам принадлежит главное счастье и самый бесценный дар — жизнь?

Не улыбаемся новому дню, забываем о любви и дружбе. А потом...

Однажды все меняется.

В самых трагических, самых безнадежных обстоятельствах мы наконец-то осознаем ценность жизни.

И тогда мы вступаем в борьбу со смертью — как вступил в нее герой этой удивительной книги.

Мы боремся — и побеждаем.

- [Митч Элбом](#)

-
- [Учебная программа](#)
- [План уроков](#)
- [Студент](#)
- [Наглядные пособия. Часть первая](#)
- [Встреча](#)
- [Классная комната](#)
- [Проверка посещаемости](#)
- [Вторник первый. Мы говорим обо всем на свете](#)
- [Вторник второй. Мы говорим о жалости к себе](#)
- [Вторник третий. Мы говорим о сожалении](#)
- [Наглядные пособия. Часть вторая](#)
- [Профессор. Часть первая](#)
- [Вторник четвертый. Мы говорим о смерти](#)
- [Вторник пятый. Мы говорим о семье](#)
- [Вторник шестой. Мы говорим о чувствах](#)
- [Профессор. Часть вторая](#)
- [Вторник седьмой. Мы говорим о страхе состариться](#)
- [Вторник восьмой. Мы говорим о деньгах](#)
- [Вторник девятый. Мы говорим о том, что любовь продолжается](#)
- [Вторник десятый. Мы говорим о супружеской жизни](#)
- [Вторник одиннадцатый. Мы говорим о нашей культуре](#)

- [Наглядные пособия. Часть третья](#)
 - [Вторник двенадцатый. Мы говорим о прощении](#)
 - [Вторник тринадцатый. Мы говорим о совершенном дне](#)
 - [Вторник четырнадцатый. Мы говорим «прощай»](#)
 - [Выпускная церемония](#)
 - [Послесловие](#)
 - [notes](#)
 - [1](#)
 - [2](#)
 - [3](#)
 - [4](#)
 - [5](#)
 - [6](#)
 - [7](#)
-

Митч Элбом

Величайший урок жизни, или Вторники с Морри

*Посвящаю эту книгу своему брату Питеру,
самому отважному из известных мне людей*

Митч Элбом — писатель, которого знает весь мир. Его книги «Вторник с Морри», «Пятеро, что ждут тебя на небесах» и «Ради нового дня» читают более чем в 40 странах. Они переведены на 42 языка, а их тираж превысил 30 миллионов экземпляров!

Митч Элбом — писатель, который заново учит нас простым радостям жизни — вере, любви и пониманию.

«Miami Herald»

Учебная программа

Памяти моего отца Раймонда Гасско

Е. Золот-Гасско

Последние уроки жизни моего профессора проходили раз в неделю у него дома, в кабинете, возле окна, сквозь которое он мог наблюдать за маленьким, роняющим розовые листья гибискусом. Уроки шли по вторникам. Начинались после завтрака. Темой уроков был смысл жизни. Преподавались из жизненного опыта.

Отметок не ставилось, но каждую неделю был устный экзамен. На нем нужно было отвечать на вопросы и нужно было задавать свои. И еще время от времени выполнять задания: повернуть голову профессора в удобное положение на подушке или надеть ему на переносицу очки. За прощальное объятие оценка повышалась.

Учебников не требовалось, хотя тем было пройдено много: любовь, работа, община, семья, старение, прощение и в самом конце — смерть.

Вместо выпускной церемонии были похороны.

Выпускных экзаменов не было, но требовалось написать сочинение о том, чему ты научился. Оно перед вами.

На эти последние уроки жизни моего старого профессора приходил только один студент.

Это был я.

Конец весны 1979 года. Жаркий и влажный субботний полдень. Мы сидим на огромной лужайке бок о бок на складных деревянных стульях перед зданием университета — нас несколько сотен. На нас синие нейлоновые мантии. Мы нетерпеливо слушаем длинные речи. Но вот церемония закончена, мы бросаем в воздух наши «кепки»; теперь мы официально выпускники университета Брандейса (г. Уолтем, штат Массачусетс). Упал занавес — для многих из нас только что кончилось детство.

Я разыскиваю моего любимого профессора Морри Шварца и знакоблю с ним родителей. Морри маленького роста и движется маленькими шажками, будто всякую минуту порыв ветра может

сдуть его и унести в облака. В своей полагающейся в выпускной день мантии он похож на гибрид библейского пророка с эльфом. У него искрящиеся сине-зеленые глаза под пучками седоватых бровей, волосы, падающие на лоб, поредевшие и серебристые, большие уши и треугольный нос. И хотя зубы у него кривые, а нижние к тому же и скошенные, словно кто-то однажды заехал ему в челюсть, улыбка его первозданно и прекрасна.

Морри рассказывает моим родителям, что я прослушал все его предметы.

— У вас необыкновенный сын, — говорит он.

Я смущенно утыкаюсь взглядом в землю. Перед уходом протягиваю ему подарок — светло-коричневый портфель с его инициалами. Я купил этот портфель в торговом центре накануне. Мне хотелось, чтобы Морри остался в моей памяти. А может, мне хотелось, чтобы Морри не забыл меня.

— Митч, ты отличный парень. — Морри восхищенно смотрит на портфель. Он обнимает меня. Я чувствую на спине его тонкие руки. Я выше его ростом, и в его объятии мне неловко, точно я старше его; словно я взрослый, а он ребенок.

Морри спрашивает, собираюсь ли я поддерживать с ним отношения, и без всяких колебаний я отвечаю: «Конечно».

Он уходит, и я вижу, что у него на глазах слезы.

План уроков

Смертный приговор был объявлен летом 1994 года. Когда Морри оглянулся назад, он понял, что еще задолго до этого догадывался: с ним что-то неладно. Впервые это пришло ему в голову в тот день, когда он бросил танцевать.

Мой старик-профессор всегда был завзятым танцором. Под какую музыку танцевать — не имело значения. Рок-н-ролл, джаз, блюз — Морри любил все. С закрытыми глазами и блаженной улыбкой он двигался в своем собственном ритме. Это не всегда выглядело привлекательно, но зато он не нуждался в партнере. Он танцевал сам по себе.

Каждую среду Морри приходил в недействующую церквушку на Гарвардской площади на нечто под названием «Танцуй бесплатно». В белой футболке и черных спортивных штанах, с полотенцем на шее он бродил в толпе студентов под светомузыку и грохот репродукторов и танцевал под то, что в тот вечер играли. Он танцевал линди под Джимми Хендрикса. Он крутился и вертелся, махал руками, как дирижер на возвышении, пока пот не начинал катиться градом у него меж лопаток. Никто вокруг не знал, что он известный профессор социологии, у которого за спиной огромный опыт и несколько выдающихся трудов. Студенты, наверное, думали, что это просто спятивший старик.

Однажды Морри принес с собой кассету с танго и уговорил их запустить ее. И тут он воцарил над всеми: носился взад-вперед по залу, как страстный испанский любовник, а когда танец закончился, все зааплодировали. Если б он мог замереть в этом миге навечно!

Но вскоре с танцами было покончено.

Морри было за шестьдесят, когда у него началась астма. Ему стало трудно дышать. Однажды, когда он гулял вдоль реки, налетел порыв холодного ветра, и он закашлялся от удушья. Его тут же отвезли в больницу и вкололи адреналин.

Через год-другой ему стало трудно, ходить. На дне рождения одного из своих друзей он вдруг ни с того ни с сего споткнулся и упал. В другой раз, к полному изумлению публики, он упал со ступеней в театре.

— Воздуха ему! Воздуха! — кричал кто-то.

Тогда ему уже было за семьдесят; вокруг зашептали: «Старость...» — и помогли ему подняться на ноги. Но Морри, который знал себя лучше, чем

знают себя многие из нас, догадался, что не в старости дело. Было что-то и помимо старости. Морри все время чувствовал усталость. Ему плохо спалось. Снилось, что он умирает.

Морри стал ходить к врачам. К разным врачам. Ему проверяли кровь. Проверяли мочу. Заглядывали через задний проход в кишку. В конце концов, когда ничего не нашли, один из докторов послал Морри на биопсию мышц, и у него отщипнули кусочек икры. Результат анализа указывал на неврологическую проблему, и Морри послали на очередную серию проверок. Во время одной такой проверки его посадили на специальное сиденье — нечто вроде электрического стула — и подвергли действию электроразрядов, чтобы изучить неврологические реакции.

— Надо в этом получше разобраться, — сказали доктора, изучая результаты.

— Почему? — спросил Морри. — Что там такое?

— Не совсем понятно. Реакции были замедленные.

Реакции замедленные. Что это значит?

Наконец в жаркий, влажный полдень августа 1994 года Морри и его жена Шарлотт пришли к невропатологу; и врач, прежде чем объявить новость, попросил их сесть. У Морри нашли амиотрофный латеральный склероз, или сокращенно АЛС (болезнь Лу Герига), жестокое, беспощадное заболевание нервной системы.

Болезнь считалась неизлечимой.

— Как же я ею заболел?

Никто не знал.

— Она смертельная?

— Да.

— Значит, я умру?

— К сожалению, да, — сказал доктор.

Он просидел с Морри и Шарлотт почти два часа, терпеливо отвечая на их вопросы. При прощании он дал им брошюры с информацией об АЛС. С виду они напоминали те, что дают, когда открываешь счет в банке. На улице сияло солнце, и кругом как ни в чем не бывало сновали люди. Женщина подбежала к счетчику на парковке и бросила в щель монету. Другая прошла мимо с покупками. У Шарлотт в голове роем закружились мысли: «Сколько же у нас осталось времени? Как мы со всем этим справимся? На что будем жить?»

А мой профессор в это время стоял, потрясенный тем, что все вокруг было так обыденно. «Почему мир не остановился? Разве никто не знает, что со мной случилось?»

Но мир не остановился. И люди не обращали на Морри никакого внимания. Он с трудом открыл дверцу машины и почувствовал, что проваливается в бездну.

«Что же теперь будет?» — подумал он.

Пока мой старик-профессор искал ответы на свои вопросы, болезнь овладевала им сильнее и сильнее с каждым днем, с каждой неделей. Однажды утром он хотел вывести из гаража машину и с трудом смог нажать на педаль тормоза. На этом закончилось его вождение.

Морри то и дело спотыкался — пришлось купить палку. На этом завершилась его самостоятельная ходьба.

Профессор отправился в очередной раз в бассейн и обнаружил, что не может сам раздеться. Ему пришлось впервые в жизни нанять помощника — Тони, студента теологии, который помогал Морри входить в бассейн и выходить из него, помогал раздеться и одеться. В раздевалке пловцы притворялись, что не глазеют на Морри. И все равно глазели. Так тайна становилась достоянием окружающих.

Осенью 1994 года Морри вернулся в университет Брандейса прочитать свой последний курс. Конечно, он мог этого и не делать. В университете бы поняли. К чему страдать на виду у стольких людей? Сиди себе дома. Приводи в порядок дела. Но мысль об уходе даже не приходила в голову Морри.

Прихрамывая, вошел он в аудиторию, комнату, что служила ему вторым домом более тридцати лет. Медленно, с трудом добрался до стула. Опустился на него, уронил с носа очки и посмотрел на молодых людей, молча взиравших на него.

— Друзья мои, я полагаю, вы все здесь собрались послушать курс социологии. Я читал этот курс двадцать лет и впервые должен признаться, что брать его вам на этот раз рискованно: я смертельно болен. Я могу не дожить до конца семестра. Если для кого-то из вас это имеет значение и вы решите поменять мой курс на другой, я не обижусь. — Он улыбнулся.

Так его болезнь перестала быть секретом.

АЛС подобен зажженной свече: он растапливает нервы и оставляет телу сгусток воска. Часто болезнь начинается с ног, а потом движется выше и выше. Теряется контроль над мышцами ног — и ты не можешь стоять. Теряется контроль над телом — и ты не можешь прямо сидеть. Под конец, если ты еще жив, го дышишь уже через вставленную в горло трубочку, а твоя душа в это время в полном сознании томится в вялой скорлупе,

способной уже только моргать и едва шевелить языком, словно ты персонаж научно-фантастического фильма — человек, замороженный внутри собственной плоти. Заболев, ты доходишь до такого состояния лет за пять.

Врачи сказали Морри, что жить ему осталось два года.

Морри знал, что осталось меньше.

Но мой старый профессор принял серьезное решение, начавшее зреть в нем со дня, когда он вышел из кабинета врача, осознав, что над его головой навис дамоклов меч. Он сказал себе: «Я могу зачахнуть и незаметно исчезнуть, а могу прожить оставшееся время наилучшим образом».

Он не будет чахнуть. Он не будет стыдиться умирания.

Смерть станет его последним проектом, сосредоточением всех последующих дней. Так как всем предстоит умереть, его опыт может оказаться необычайно ценным. Он может стать темой исследования. Живым учебником. *Изучайте мой неторопливый уход. Смотрите, что со мной происходит. Учитесь вместе со мной.*

Морри решил пройти по последнему мосту между жизнью и смертью и поведать другим о своем пути.

Осенний семестр прошел быстро. Число таблеток увеличилось. Физиотерапия стала ежедневной рутиной. К профессору домой приходила медсестра. Чтобы мышцы совсем не увяли, она сгибала его слабеющие ноги, будто качая воду из колодца. Раз в неделю приходил массажист смягчить постоянную неподвижность мышц. Морри встретился с учителями медитации, и те научили его, как, закрыв глаза и сужая мысли, можно свести мир только к дыханию: вдох, выдох, вдох, выдох.

Однажды, пытаясь с помощью палки взойти на тротуар, Морри упал на дорогу. Палку пришлось сменить на ходунки. Тело его ослабевало все больше и больше, и скоро поход в туалет стал невыносимо труден; он начал мочиться в большую пробирку. Но сил не хватало делать это самостоятельно — кто-то должен был держать пробирку.

Большинству из нас все это было бы страшно неловко, особенно в возрасте Морри. Но Морри не был похож на большинство из нас. Когда кто-то из ближайших коллег приходил его навестить, он, бывало, говорил им: «Слушай, мне надо помочиться. Ты не против помочь? Тебе это ничего?»

Часто, к их собственному удивлению, приятели были не против помочь.

Он развлекал растущий поток посетителей. У него собирались группы людей поговорить о смерти, о ее значении в жизни, о том, как общество всегда боялось смерти и никогда не пыталось понять ее суть. Морри сказал своим друзьям, что, если они хотят по-настоящему помочь ему, не надо выражать ему сочувствие; пусть они навещают его, звонят, делятся своими заботами так, как делали это прежде, ведь Морри всегда умел замечательно слушать.

Вопреки всему, что происходило с Морри, голос его звучал сильно и зазывно, в его мозгу вибрировали тысячи мыслей. Ему хотелось доказать, что слово «умирающий» не значит «бесполезный».

Пришел и ушел Новый год. И хотя Морри никому не говорил об этом, он знал, что это будет последний год его жизни. Теперь он уже сидел в инвалидной коляске и всюду сражался со временем: надо было успеть сказать все, что ему хотелось, тем, кого он любил. Когда его университетский коллега внезапно умер от сердечного приступа, Морри отправился к нему на похороны. Вернулся домой он страшно подавленным.

— Как жалко, — сказал он. — Все, кто там был, говорили об Эрве столько хорошего, а он ничего этого не услышал.

И Морри осенило. Он позвонил друзьям. Он выбрал день. И в холодный воскресный полдень у него собралась небольшая группа друзей и родных на «живые похороны». Каждый из пришедших отдал дань моему старому профессору. Кто-то плакал. Кто-то смеялся. А одна женщина прочитала стихотворение:

Мой дорогой, любимый кузен...
Ты движешься сквозь время,
Рассекая слой за слоем.
И твое вечно молодое сердце
Точно нежная секвойя...

Морри плакал и смеялся вместе со всеми. И все самое сокровенное, что мы никогда не решаемся сказать тем, кого любим, Морри высказал в тот день. «Живые похороны» удалась на славу.

Только Морри еще не умер. Более того, самая поразительная часть его жизни только начиналась.

Студент

Теперь же я хочу вам рассказать, что происходило со мной с того самого летнего дня, когда я обнял своего старого, мудрого профессора и обещал не забывать его.

Я не выполнил обещания.

Честно говоря, я перестал поддерживать отношения почти со всеми университетскими приятелями, включая женщину, с которой впервые в жизни проснулся однажды поутру. За годы после окончания университета я очерствел и превратился в человека, сильно отличавшегося оттого подростки самоуверенного выпускника, который направлялся в Нью-Йорк одарить мир своими талантами.

Как выяснилось, мир вовсе их не жаждал. Мне было тогда чуть за двадцать, и все мои занятия свелись к внесению платы за квартиру, чтению объявлений о работе и нескончаемому изумлению: почему мне не улыбается фортуна? Я мечтал стать знаменитым музыкантом (я играл на фортепьяно), но после нескольких лет в темных, пустых ночных клубах, невыполненных обещаний, музыкальных групп, что без конца распадались, и их руководителей, бывших в восторге от всех, кроме меня, мечта моя увяла. Впервые в жизни я потерпел поражение.

И в то же самое время я впервые всерьез соприкоснулся со смертью. Мой любимый дядя, брат матери, человек, который приобщил меня к музыке, дразнил девочками, научил водить машину и играть в футбол, тот самый взрослый, над которым я подшучивал, будучи ребенком, и о котором я сказал: «Вот кем я хочу стать, когда вырасту», умер сорока четырех лет от роду от рака поджелудочной железы. Мой дядя был хорош собой, невысокого роста, с густыми усами. Я жил с ним в одном доме, в квартире этажом ниже, и последний год его жизни мы провели вместе. Я видел, как его крепкое тело сначала усохло, потом вздулось, видел, как он мучился: согнутый дугой над обеденным столом, с закрытыми глазами, он сжимал обеими руками живот, и рот его искажался от боли. «А-а-а-а-а, Боже! — стонал он. — А-а-а-а-а, Господи!» Все мы — его жена, его двое сыновей и я — сидели рядом и, стараясь не смотреть на него, торопливо доедали обед.

Никогда жизни я не чувствовал себя таким беспомощным.

Однажды майской ночью мы расположились с дядей на балконе его квартиры. Было тепло и чуть ветрено. Он устремил взгляд к горизонту и вдруг процедил, что дети его будут ходить в будущем году в школу уже без

него. Он спросил меня, не присмотрю ли я за ними. Я ответил, что он не должен так говорить. Он грустно посмотрел на меня.

Через несколько недель дядя умер.

После его похорон жизнь моя переменялась. Я неожиданно почувствовал, что время бесценно, словно вода, текущая из открытого крана, и, чтобы не потерять его, я должен нестись во весь опор. Я не буду больше играть в полупустых ночных клубах. Не буду больше, засев в квартире, сочинять песни, которые никто не собирается слушать. И я снова пошел учиться. Получил степень магистра в области журналистики, а вскоре и первую работу — спортивного репортера. Я перестал гоняться за славой и стал писать о погоне за славой знаменитых спортсменов. Я работал в газетах и сотрудничал с журналами. Я работал со скоростью, не знавшей предела. Я просыпался утром, чистил зубы и садился за пишущую машинку в том, в чем спал. Мой дядя работал на одну из корпораций и ненавидел свою работу: изо дня в день одно и то же, одно и то же. Я же поклялся, что со мной такого никогда не случится.

Я метался между Нью-Йорком и Флоридой и в конце концов устроился на работу в Детройте — корреспондентом «Детройт фри пресс». Город этот обладал ненасытным спортивным аппетитом — там было четыре профессиональных команды: футбольная, баскетбольная, бейсбольная и хоккейная: и это соответствовало моему честолобию. Через несколько лет я не только сочинял статьи для газеты, но и писал спортивные книги, готовил радиoproграммы и без конца выступал на телевидении, фонтанируя мнениями о преуспевающих футболистах и лицемерных спортивных программах колледжей. Я стал струей журналистской бури, захлестнувшей нашу страну. На меня был спрос.

Я перестал снимать квартиры. Я стал покупать. Купил дом на холме. Приобрел машины. Я вкладывал деньги в биржевые акции и стал владельцем ценных бумаг. Я включил пятую скорость и все, что делал, делал по расписанию. Я занимался физкультурой как помешанный. Я водил машину на головокружительной скорости. Я зарабатывал столько денег — уму непостижимо! Я встретил темноволосую женщину по имени Жанин, которая полюбила меня, несмотря на мое расписание и постоянные отлучки. Мы встречались семь лет и только потом поженились. Через неделю после свадьбы я, как прежде, засел за работу. Я сказал ей и себе, что когда-нибудь у нас будут дети, то, чего ей так хотелось. Но это «когда-нибудь» так и не наступило.

Я весь ушел в достижение успеха, потому что успех, считал я, поможет мне контролировать все: я высосу из жизни все до единой капли

радости и успею сделать это до того, как заболею и умру, что со мной наверняка случится в точности, как с моим дядей.

А как же Морри? Что ж, время от времени я вспоминал о нем и о том, как он учил меня «быть человечным» и «думать о других», но все это было так далеко, словно в иной жизни. Все эти годы я выбрасывал письма, приходившие из университета Брандейса, считая, что все они об одном и том же: просят денег. Так что о болезни Морри я ничего не знал. Тех, кто мог мне рассказать об этом, я давно позабыл, номера их телефонов я похоронил в нераспакованных коробках на чердаке.

Так бы все и продолжалось, если бы однажды поздно вечером я не включил телевизор и, перескакивая с программы на программу, вдруг не наткнулся на нечто привлекавшее мое внимание...

Наглядные пособия. Часть первая

В марте 1995 года возле заснеженной дорожки у дома Морри в Западном Ньютоне штата Массачусетс остановился лимузин, в котором сидел Тед Коппел, ведущий программы Эй-би-си «Найтлайн».

Морри уже не вылезал из коляски, привыкая к тому, что его перетаскивают, точно куль, из коляски в кровать и из кровати в коляску. Во время еды он теперь кашлял, и жевать стало тяжелой обязанностью. Ноги ему отказали, он больше не мог ходить.

И тем не менее Морри отказывался унывать. Он искрился идеями. Он записывал свои мысли в блокнотах, на конвертах, папках, клочках бумаги. Краткие изречения о жизни в тени смерти. «Прими как данность: что-то тебе под силу, а что-то нет». «Прими прошлое как прошлое: не отрицай и не искажай его». «Научись прощать себя и прощать другим». «Не думай, что слишком поздно в чем-то участвовать».

Скоро у него накопилось больше пятидесяти «афоризмов», которыми он делился со своими друзьями. Один из друзей, коллега по университету, Мори Штейн, был так захвачен идеями друга, что послал их репортеру «Бостон глоуб», тот приехал к Морри и написал о нем большую статью. Заголовок ее гласил: «Последний курс профессора — его собственная смерть».

Статью заметил один из продюсеров «Найтлайн» и привез ее к Коппелу в Вашингтон.

— Взгляни на это, — сказал он.

И вот теперь лимузин Коппела стоял перед домом Морри, а телеоператоры сидели в его гостиной.

Члены семьи Морри и несколько его друзей пришли познакомиться с Коппелом, и, когда этот знаменитый человек вошел в дом, они стали взволнованно переговариваться — все, кроме Морри, который выкатился вперед на коляске, нахмурил брови и высоким, певучим голосом прервал шум:

— Тед, прежде чем я соглашусь на интервью, я должен тебя проверить.

Воцарилось неловкое молчание, они оба последовали в кабинет. Дверь за ними закрылась.

— Бог мой, — прошептал один из друзей другому, — надеюсь, Тед будет снисходителен к Морри.

— Хорошо бы Морри был снисходителен к Теду, — ответил второй.

В кабинете Морри жестом указал Теду на стул. Сложив руки на коленях, он улыбнулся.

— Скажите мне: что близко вашему сердцу? — начал Морри.

— Моему сердцу? — Коп пел изучающе посмотрел на старика. — Ладно, — сказал он осторожно и заговорил о своих детях. Ведь они всегда были в его сердце.

— Хорошо, — сказал Морри. — Теперь расскажите мне о своей вере.

Коппелу стало не по себе.

— Я обычно не говорю об этом с людьми, которых знаю всего несколько минут.

— Тед, я умираю, — произнес Морри, внимательно глядя на него поверх очков. — У меня со временем очень туго.

Коппел рассмеялся. Хорошо. Вера. Он процитировал отрывок из Марка Аврелия, тот, что выражал его собственные чувства. Морри кивнул.

— А теперь позвольте мне задать вам вопрос. Вы когда-нибудь видели мою программу? — спросил Коппел.

Морри пожал плечами:

— Раза два, наверное.

— Всего два раза?!

— Не огорчайтесь. Я даже Опру^[1] видел только один раз.

— Хорошо, а когда вы смотрели мою программу, о чем вы думали?

Морри ответил не сразу.

— Сказать честно?

— Так что?

— Я подумал, что вы страдаете нарциссизмом.

Коппел расхохотался.

— Для этого я слишком уродлив, — сказал он.

Вскоре перед камином в гостиной заработали камеры. Коппел был в синем костюме с иголки, а Морри — в сером мешковатом свитере. Он наотрез отказался от нарядной одежды и услуг гримера. Морри считал, что смерти не надо стыдиться, и он не собирался наводить марафет.

Так как Морри сидел в инвалидной коляске, в камеру ни разу не попали его неподвижные ноги. Руками же он мог шевелить вовсю — а Морри всегда говорил, размахивая руками, — и потому с необычайной страстью объяснял, как встречает конец своей жизни.

— Тед, — начал он, — когда все это случилось, я спросил себя, собираюсь ли я отречься от мира, как это делает большинство, или буду жить? Я решил, что буду жить, или по крайней мере попробую жить, так, как я хочу: с самообладанием, смелостью, достоинством и юмором. Иногда по утрам я плачу и плачу. Оплакиваю себя. А бывает, что поутру во мне столько злости и горечи! Но это длится недолго. Я поднимаю голову с подушки и говорю: «Я хочу жить...» Пока что мне это удавалось. Удастся ли мне это дальше? Я не знаю. Но верю, что удастся.

Похоже, Морри производил на Коппела все большее впечатление. Он спросил, считает ли Морри, что приближение смерти делает человека смиренным.

— Ну, как тебе сказать, Фред, — оговорился Морри и тут же поправился: — Я хотел сказать — Тед...

— Так вот что значит смирение, — рассмеялся Коппел.

Они говорили о жизни после смерти. И о том, как Морри все больше и больше зависит от других людей. Ему теперь уже помогали и есть, и садиться, и передвигаться с места на место. Коппел спросил Морри, что страшит его больше всего в этом медленном, коварном угасании.

Морри задумался, а потом спросил, может ли он сказать *такое* по телевидению.

Коппел кивнул:

— Говорите.

Морри посмотрел прямо в глаза самому знаменитому тележурналисту Америки и ответил:

— Ну что тут сказать, Тед, очень скоро кому-то придется вытирать мне задницу.

Передача пошла в эфир в пятницу вечером. Тед Коппел, сидя за своим письменным столом в Вашингтоне, солидно зарокотал: «Кто такой этот Морри Шварц? И почему к концу вечера многим из вас он станет близок?»

За тысячу миль от Вашингтона, в своем доме на холме, я сидел у телевизора и, как обычно, пробегая по программам, вдруг услышал: «Кто такой этот Морри Шварц?..» — и оцепенел.

Мое первое занятие с Морри было весной 1976 года. Я вхожу в его просторный кабинет и сразу замечаю нескончаемые ряды книг на бесчисленных полках от пола до потолка. Книги по социологии, философии, религии, психологии. Я вижу большой ковер на паркетном полу и широкое окно, за которым вьется

тропинка. В классе сидит с дюжину студентов, у них блокноты и планы занятий. Большинство студентов в джинсах и клетчатых фланелевых рубашках. Я тут же мысленно отмечаю: прогуливать уроки в такой маленькой группе будет нелегко. Может, этот курс не стоит и брать?

— Митчел? — спрашивает Морри, глядя в листок посещаемости.

Я поднимаю руку.

— Как вам больше нравится — Митч или Митчел?

Ни разу в жизни преподаватели не задавали мне такого вопроса. Я внимательнее всматриваюсь в этого мужчину в желтой водолазке и зеленых вельветовых штанах, с серебряной прядью, спадающей на лоб. Он улыбается.

— Митч, — говорю я. — Так меня называют друзья.

— Что ж, значит, будет Митч, — говорит Морри, словно ставя точку над *i* и закрывая тему. — Так вот, Митч...

— Да?

— Надеюсь, мы будем друзьями.

Встреча

Во взятой напрокат машине я ехал по Западному Ньютону, тихому пригороду Бостона, свернул на улицу, где жил Морри; в одной руке я держал стаканчик кофе, а между ухом и плечом у меня был зажат сотовый телефон. По телефону я говорил с постановщиком передачи, которую мы готовили на телевидении. Взгляд мой метался между наручными часами — скоро я должен был лететь обратно — и номерами на почтовых ящиках, выстроившихся вдоль обрамленной деревьями улицы. В машине работал приемник, настроенный на волну новостей. Так вот я и жил — пять дел одновременно.

— Прокрути пленку назад, — сказал я постановщику. — Дай мне послушать эту часть еще раз.

— Ладно, — ответил он. Через минуту будет готово.

Вдруг я понял, что уже подъехал к дому Морри. Я резко затормозил... и пролил кофе на колени. Пока машина останавливалась, я мельком заметил на лужайке перед домом высокий красный клен, а рядом с ним трех человек: молодого мужчину и пожилую женщину, усаживающую маленького старичка в инвалидную коляску.

Морри.

Я увидел моего старого профессора и замер.

— Эй, — послышался голос постановщика, — ты куда пропал?

Я не видел Морри шестнадцать лет. Волосы его поредели, стали белесыми, а лицо совсем осунулось. Я вдруг почувствовал, что не готов для встречи с ним. Я был привязан к телефону и надеялся, что он не заметил моего приезда. Хорошо бы проехаться несколько раз по ближайшим улицам, закончить дело и психологически подготовиться к встрече. Но Морри, этот новый угасающий Морри, человек, которого я когда-то так близко знал, уже улыбался, глядя на мою машину, и, сложив на коленях руки, с нетерпением ждал моего появления.

— Эй, — снова услышал я голос постановщика, — ты где там?

Хотя бы в благодарность за проведенное со мной время, за доброту и терпение, с какими профессор относился ко мне в годы моей молодости, я должен был бы бросить трубку, выскочить из машины, обнять и поцеловать его.

Но вместо этого я выключил мотор и сполз с сиденья, как будто что-то

уронил и пытался найти.

— Да, да, я здесь, — зашептал я в трубку и продолжил разговор с постановщиком, пока мы не довели дело до конца.

Я сделал то, в чем поднаторел лучше всего: предпочел всему работу — даже моему умирающему профессору, ждавшему меня с нетерпением на лужайке. Стыдно признаться, но именно так я и поступил.

И вот пять минут спустя Морри уже обнимал меня; его редкие волосы щекотали мне щеку. Я объяснил ему, что уронил в машине ключи, и сжал его крепче, словно пытался раздавить свою жалкую ложь. Хотя на дворе уже было тепло от весеннего солнца, на Морри — курточка, а ноги укутаны одеялом. От него исходил чуть кисловатый запах — так часто пахнет от тех, кто принимает лекарства. Лицо Морри оказалось настолько близко к моему, что я услышал его затрудненное дыхание.

— Старый мой друг, — шепчет он. — Наконец-то ты вернулся.

Я склонился над ним, а он, обхватив меня и не выпуская из объятий, тихонько покачивался. Я поразился этой нежности после стольких лет разлуки: за каменной стеной, воздвигнутой мной между прошлым и настоящим, я совершенно забыл, как близки мы были когда-то. Я вдруг вспомнил день выпуска, портфель, слезы у него на глазах, когда я уходил, и в горле у меня застрял комок. Глубоко в душе я знал: я уже не тот славный, одаренный парень, каким он меня помнил.

И я надеялся лишь на то, что в ближайшие несколько часов Морри не удастся меня раскусить.

Мы вошли в дом и уселись за орехового дерева обеденный стол, стоявший возле окна; за окном виднелся соседний дом. Морри заерзал в коляске, пытаясь сесть поудобнее. По обычаю Морри стал предлагать мне поесть, и я не мог отказаться. Помощница, полная итальянка по имени Конни, нарезала хлеб и помидоры, принесла коробочки с куриным салатом, хумусом и табули^[2].

И еще она принесла таблетки. Морри посмотрел на них и вздохнул. Я заметил, что глаза его запали глубже, а скулы обострились. Это старило его и придавало некую суровость, но лишь стоило ему улыбнуться — и его суровости как не бывало.

— Митч, — сказал он мягко, — ты ведь знаешь, что я умираю.

Я кивнул.

— Ну что ж, — Морри проглотил таблетку, поставил на стол бумажный стаканчик, глубоко вздохнул и выдохнул. — Рассказать тебе, что это такое?

— Что это такое? Что такое «умирать»?

— Да, — кивнул Морри.

Так начался наш с ним последний урок, хотя тогда я и не подозревал об этом.

Мой первый год в колледже. Морри старше большинства профессоров, а я младше большинства студентов, так как окончил школу на год раньше. Чтобы казаться старше, я хожу в серых поношенных свитерах и, хотя не курю, разгуливаю с незажженной сигаретой в зубах. Вожу я потрепанный «меркури кугар», с опущенными стеклами и грохочущей музыкой. Я ищу себя в грубоватости, но меня тянет к мягкому Морри: он не смотрит на меня как на выпендривающегося мальчишку, и мне с ним легко и спокойно.

Мой первый курс с Морри заканчивается, и я записываюсь на второй. Морри ставит отметки совсем не строго: оценки его не волнуют. Рассказывают, что однажды во время войны с Вьетнамом он поставил всем своим ученикам высшую оценку, чтобы их не забрали в армию.

Я начинаю называть Морри Тренер — так, как называл своего тренера в школе. Морри прозвище нравится.

— Тренер... — говорит он. — Что ж, буду твоим тренером. А ты — моим игроком. Ты сможешь играть

за меня во все те чудесные игры жизни, которые мне уже не по возрасту.

Иногда мы вместе ходим в кафетерий. К моему удовольствию, Морри еще больший неряха, чем я. Вместо того чтобы жевать, он говорит, смеется во весь рот, произносит страстные речи, набив рот яичным салатом; — при этом кусочки яйца разлетаются во все стороны.

Я в полном восторге. Все то время, что мы знакомы, меня переполняют два неодолимых желания: обнять его... и дать ему салфетку.

Классная комната

Солнечные лучи пробивались сквозь окно столовой и ложились на паркетный пол. Мы проговорили уже почти два часа. Снова и снова звонил телефон, и Морри просил Конни брать трубку. Она записывала имена звонивших в его маленькую черную записную книжку. Друзья. Учителя медитации. Дискуссионная группа. Репортер — заснять его для журнала. Явно не мне одному захотелось навестить моего старого профессора — после появления в «Найтлайн» он стал кем-то вроде знаменитости, — но более всего поразило меня и, пожалуй, вызвало зависть то, сколько у него было друзей. Я подумал обо всех тех «дружках», что в мою бытность в колледже циркулировали на моей орбите. Где они все?

— Знаешь, Митч, теперь, когда я умираю, люди ко мне относятся с гораздо большим интересом.

— Они всегда так к вам относились.

— Хо-хо, — улыбнулся Морри. — Ты очень добр ко мне, Митч.

«Совсем я не добр», — подумал я.

— Дело в том, — продолжал Морри, — что для людей я теперь как мост. Я уже не такой живой, как прежде, но еще и не умер. Я как бы... серединка на половинку. — Морри закашлялся. А потом снова улыбнулся. — Я сейчас совершаю свое последнее путешествие, и люди хотят от меня узнать, что им придется с собой укладывать в дорогу.

Опять зазвонил телефон.

— Морри, вы можете поговорить? — спросила Конни.

— У меня сейчас в гостях старинный друг, — объявил профессор. — Попросите их позвонить попозже.

Никак не возьму в толк, почему он принял меня так тепло. Я давно уже не был тем многообещающим студентом, что покинул его шестнадцать лет назад. Если бы не та передача на «Найтлайн», он бы скорее всего умер, так и не повидав меня. И у меня не было никаких оправданий, разве лишь то единственное, которым, похоже, обзавелись в наши дни все: я был по макушку погружен в свою собственную жизнь. Занят до предела.

«Что со мной?» — спросил я себя. Высокий, хрипловатый голос Морри вернул меня к университетским годам, — годам, когда я считал богатых злодеями, рубашку с галстуком — тюремной одеждой, а жизнь, лишенную свободы встать утром и лететь на мотоцикле по улицам Парижа — ветерок в лицо, или отправиться в Тибет, — отсутствием жизни как

таковой. *Что со мной случилось?*

Случились восьмидесятые. Случились девяностые. Знакомство с болезнью и смертью, завязавшийся жирок и полысение — вот что случилось. Я обменял мечты на увесистую зарплату и даже не заметил, как это произошло.

А рядом сидел Морри, чудо времен моей юности, и я чувствовал себя так, будто просто вернулся после долгих каникул.

— Ты нашел близкого душой человека?

— Ты помогаешь людям?

— У тебя на душе хорошо?

— Ты человечен и добр настолько, насколько можешь?

Я юлил как мог, пытаюсь показать Морри, что все эти годы без устали корпел над этими вопросами. *Что случилось со мной?* Ведь я обещал себе, что никогда не буду работать из-за денег, что вступлю в Корпус Мира, что буду жить только там, где природа дарит вдохновение.

Но вот уже десять лет я в Детройте, работаю в одном и том же месте, хожу в один и тот же банк и к одному и тому же парикмахеру. Мне тридцать семь; подключенный к компьютеру и сотовому телефону, я отлично справляюсь со своими обязанностями — гораздо лучше, чем когда был в колледже. Пишу статьи о богатых спортсменах, которым в большинстве своем плевать на людей вроде меня. Я уже не моложе тех, кто меня окружает, и больше не разгуливаю в серых поношенных свитерах с незаженной сигаретой. И больше не веду нескончаемых споров о смысле жизни, зажав в руке бутерброд с яичным салатом.

Мои дни заполнены до предела, и все же я почти никогда не чувствую, что доволен собой.

Что случилось со мной?

— Тренер, — вдруг вырвалось у меня его старое прозвище.

Морри просиял:

— Точно. Я все еще твой тренер.

Он засмеялся и снова принялся за еду, еду, начатую минут сорок назад. Я следил за его руками: их движения были так робки, словно он впервые в жизни их делал. Он не мог ничего разрезать ножом: пальцы его дрожали. Каждая попытка откусить кусок превращалась в сражение. Прежде чем проглотить еду, Морри прожевывал ее до мельчайших крупинок. Иногда она вдруг соскальзывала у него с губ и ему приходилось класть на стол то, что он держал в руках, чтобы промокнуть рот салфеткой. Кожа на тыльной стороне ладоней была обвислой, в темных пятнах, точь-в-точь как на куриной косточке из супа.

И вот мы — больной старик и здоровый моложавый мужчина — сидели и ели, впитывая тишину комнаты. Тишина эта казалась неловкой, но, похоже, неловкость ощущал только я.

— Умирать — грустно, Митч, спору нет, — вдруг заговорил Морри. — Но жить несчастливо — это уже нечто иное. Среди людей, что приходят навестить меня, так много несчастных.

— Почему?

— Наша культура не поощряет доброты к самому себе. Нас учат не тому, чему нужно. Надо быть очень стойким, чтобы отвергать то, что портит жизнь. И создавать свою собственную культуру. Большинству людей это не под силу. И эти люди несчастнее меня, даже теперешнего, такого больного. Я, может, и умираю, но я окружен любящими, заботливыми людьми. А сколько тех, кто может такое сказать о себе?

Поразительно, но Морри не испытывал к себе никакой жалости. Морри, который больше не мог ни танцевать, ни плавать, ни мыться в ванной, ни ходить; Морри, который уже не был в состоянии ни открыть дверь, ни вытереть себя после душа, ни даже повернуться на бок в постели. Как он может столь спокойно все это принимать? Я наблюдал, как он сражается с вилок, пытаюсь подцепить кусочек помидора, промахиваясь раз за разом — жалкое зрелище, — и тем не менее я не мог не признаться, что в присутствии Морри мне было легко и спокойно, будто обдувало нежным бризом, точь-в-точь как в прежние времена в колледже.

Я бросил взгляд на часы — сила привычки, — становилось поздно, пожалуй, придется поменять время вылета домой, И тут Морри сделал такое, что нельзя забыть и по сей день.

— Знаешь, как я умру? — спросил он.

Я с изумлением посмотрел на него.

— Я задохнусь. Из-за астмы мои легкие не в силах вынести эту болезнь. Она движется вверх по моему телу. Уже завладела ногами. Скоро доберется до рук. А когда дело дойдет до легких... — Он пожал плечами. — Я влип.

Я не знал, что на это сказать.

— Ну, видите ли... Я имею в виду... нельзя ничего знать наперед.

Морри закрыл глаза.

— Я знаю, Митч. Но ты за меня не бойся. Я прожил хорошую жизнь, и мы все знаем, что это должно случиться. У меня еще в запасе четыре-пять месяцев.

— Ну что вы, никто не знает...

— А я знаю, — мягко сказал Морри. — Есть даже такой тест. Доктор

показал мне.

— Тест?

— Вдохни несколько раз.

Я вдохнул.

— Теперь вдохни еще раз, но на этот раз задержи дыхание и посчитай про себя до тех пор, пока тебе не надо будет вдохнуть снова.

Я вдохнул и принялся считать:

— Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь... — На семидесяти счет прервался.

— Хорошо. У тебя здоровые легкие. А теперь следи за мной.

Морри вдохнул и начал отсчет тихим, дрожащим голосом:

— Один, два, три, четыре, пять... восемнадцать.

Он остановился и глотнул воздух.

— Когда доктор первый раз попросил меня проделать это, я досчитал до двадцати трех. Теперь уже восемнадцать.

Морри закрыл глаза и покачал головой:

— Мой бензобак почти пуст.

Я почувствовал, что больше мне не выдержать. То, что я увидел, для одного дня было достаточно.

Я попрощался с Морри и обнял его.

— Приезжай навестить своего старика-профессора.

Я обещал, что приеду, при этом стараясь не вспоминать о том, как однажды уже обещал ему то же самое.

В книжном магазине университета я покупаю то, что Морри велел нам прочесть. Я покупаю книги, о существовании которых прежде и не подозревал: «Юность и кризис», «Я и ты», «Раздвоение личности».

До колледжа я понятия не имел, что изучение человеческих отношений может быть научным. Пока не встретился с Морри, я этому просто не верил.

Его страсть к книгам — подлинная, и ею нельзя не заразиться. Иногда поте занятий, когда класс пустеет, у нас начинается серьезный разговор. Морри расспрашивает меня о жизни и тут же цитирует Эриха Фромма, Мартина Бубера или Эрика Эриксона. Часто, давая совет, он ссылается на их мнение, хотя сам считает так же. Именно в эти минуты я понимал, что он не «дядюшка», а истинный профессор. Как-то раз я стал жаловаться, что в моем возрасте трудно разобраться в том, чего от

меня ждет общество и чего хочу я сам.

— Я тебе когда-нибудь рассказывал о напряжении противоположностей?

— О напряжении противоположностей?

— Жизнь — это череда напряженных рывков вперед и назад. Хочешь сделать одно, а надо делать совсем другое. Или тебя ранит нечто, что вовсе ранить не должно бы. Ты принимаешь многое как само собой разумеющееся, прекрасно зная, что ничто в этом мире нельзя принимать как само собой разумеющееся. Напряжение противоположностей подобно натяжению резинки, и большинство из нас живет где-то в центре, в самом напряженном месте.

— Похоже на соревнование по борьбе, — замечая я.

— Соревнование по борьбе, — засмеялся Морри. — Что ж, можно представить жизнь и так.

— И кто же в этой борьбе побеждает? — спрашиваю я.

— Кто побеждает? — Он улыбается — кривые зубы, глаза в морщинках. — Любовь побеждает. Всегда побеждает любовь.

Проверка посещаемости

Несколько недель спустя я летел в Лондон освещать Уимблдонский турнир, важнейшее мировое теннисное соревнование, одно из немногих, где толпа не обшикивает участников и на автостоянке нет пьяных. В Англии было тепло и облачно. Каждое утро я проходил по затененным улицам возле теннисных площадок мимо подростков, выстроившихся в очередь за лишними билетами, и торговцев клубникой и сливками. Возле ворот в газетном киоске продавалось с полдюжины цветастых британских бульварных газет с фотографиями полуобнаженных женщин и незаконно снятых членов королевской семьи, с гороскопами, спортом, лотереями и минимумом настоящих новостей. Главный заголовок газеты всегда был написан на маленькой доске, прислоненной к пачке последнего выпуска, и обычно выглядел примерно так: «У Дианы неприятности с Чарлзом!» или «Газза — команде: „Дайте мне миллионы!“».

Люди расхватывали эти газеты и жадно поглощали сплетни, точь-в-точь как и я в свои прошлые приезды. Но теперь, стоило мне прочесть что-либо глупое или бессмысленное, тут же почему-то вспоминался Морри. Я представлял, как он сидит в своем доме и впитывает каждое мгновение, проведенное с любимыми им людьми. А я в это время трачу бесчисленные часы на то, что для меня не имеет ни малейшего значения: на кинозвезд, суперманекенщиц, последний скандал с принцессой Ди, или Мадонной, или сыном Джона Кеннеди. Как это ни странно, но я завидовал тому, как Морри проводит время, хотя и с горечью думал о том, как мало этого времени у него остается. Почему нас заботят все эти никчемные люди? Дома, в Америке, в полном разгаре был процесс над О. Дж. Симпсоном, и многие тратили на его просмотр все свои обеденные перерывы, а все, что не могли увидеть днем, записывали на пленку, чтобы посмотреть вечером. Эти люди не были знакомы с Симпсоном и не знали никого из тех, о ком шла речь на суде. И тем не менее они жертвовали днями и неделями жизни, целиком поглощенные чужой драмой.

Я вспомнил слова Морри *«Наша культура не поощряет доброты к самому себе. Надо быть очень стойким, чтобы отвергать то, что портит тебе жизнь»*.

И Морри в согласии с этими словами создал свою собственную культуру — задолго до того, как заболел. Прогулки с друзьями, дискуссионные группы, танцы под свою собственную музыку. Он основал

службу под названием «Оранжевая» — психологическую и психиатрическую помощь бедным. Он без конца читал книги, чтобы почерпнуть в них новые идеи для своих лекций, встречался с коллегами, поддерживал отношения с прежними учениками, писал письма далеким друзьям. Он тратил время на еду и *наблюдения* за природой и не терял ни минуты на популярные телешоу и кинофильмы. Жизнь его, словно миска с супом, налитая до самых краев, была переполнена деятельностью — беседами, общением, привязанностями.

Я тоже создал свою собственную культуру — работу. В Англии я одновременно выполнял пять заданий для прессы, жонглируя ими, как клоун на манеже. Я по восемь часов в день просиживал за компьютером, отсылая материал в Штаты. А потом принялся за телерепортажи, разъезжая со съемочной группой по Лондону. А еще каждое утро и после полудня я отсылал репортажи на радио. Это была для меня обычная нагрузка. Год за годом работа была для меня самым главным, отодвигая все прочее на задний план.

В Уимблдоне я даже ел в своем рабочем закутке и считал, что так оно и должно быть. И вот однажды, в особо безумный день, толпа репортеров гонялась за Андре Агасси и его знаменитой пассией Брук Шилдс, и один из английских репортеров, с огромным фотоаппаратом на шее, сбил меня с ног, на ходу пробормотал «извините» и понесся дальше.

И тогда я вспомнил другие слова Морри: *«Столько людей кругом ведут бессмысленную жизнь. Они все делают как будто в полусне, даже когда думают, что заняты чем-то важным. И все потому, что гонятся за чем-то не тем. Чтобы сделать жизнь осмысленной, надо любить других людей, заботиться о тех, кто вокруг тебя, создавать то, что имеет смысл и значение».*

Я знал, что он был прав. Только что толку-то?

Подошел к концу турнир, а с ним и нескончаемое кофепитие, благодаря которому мне удалось продержаться. Я сложил компьютер, прибрал в своем закутке и поехал на квартиру укладываться. Было поздно. Даже телевизор не работал.

В Детройт я прилетел в конце дня, с трудом дотащился до дома и завалился спать. Проснувшись, я узнал сногшибательную новость: профсоюз моей газеты забастовал. Все закрылось. Перед главным входом стояли пикеты, а по улице туда и обратно вышагивали забастовщики. Я был членом профсоюза, и поэтому выбора у меня не было: так неожиданно-негаданно я впервые в жизни оказался без работы, без зарплаты, в

состоянии войны со своими хозяевами.

Руководители профсоюза позвонили мне домой и предупредили, чтобы я не смел разговаривать со своими бывшими редакторами, многие из которых были моими хорошими приятелями, и велели бросать трубку, если кто-то из них позвонит и попыбует вступить в переговоры.

— Мы будем сражаться до победы! — поклялись лидеры профсоюза — военачальники да и только.

Я был угнетен и растерян. И хотя работа на телевидении и радио была хорошим подспорьем, моей жизнью, моим кислородом была газета. Каждое утро я видел в ней свою статью, и мне казалось, по крайней мере это доказывает, что я жив.

Теперь я этого лишился. По мере того как забастовка продолжалась — первый, второй, третий день, — тревожные телефонные звонки и слухи вещали, что она может затянуться на месяцы. Все перевернулось вверх дном. По вечерам шли спортивные соревнования, с которых я обычно вел репортажи: теперь же вместо этого я сидел дома и смотрел их по телевизору. С годами я привык думать, что читателям необходимы мои статьи и репортажи. Но к моему изумлению, и без меня все шло прегладко.

Так прошла неделя, и вот я снял трубку телефона и набрал номер Морри.

— Приедешь навестить меня? — спросил он, но слова его прозвучали скорее как утверждение, чем как вопрос.

— А можно?

— Во вторник тебе удобно?

— Во вторник годится, — сказал я. — Вторник мне подходит.

На втором курсе я слушаю еще два его предмета. Но теперь время от времени мы встречаемся и помимо класса — просто поговорить. Я никогда этого прежде не делал ни с кем из взрослых, только с родственниками, и тем не менее с Морри мне легко и просто. Да и он, кажется, с легкостью находит для этого время.

— Ну, куда мы сегодня пойдем? — весело спрашивает он, когда я вхожу к нему в кабинет.

Весной мы сидим под деревом возле корпуса социологии, а зимой — возле его письменного стола. На мне, как всегда, серый свитер и кроссовки, а на Морри — кожаные ботинки и вельветовые брюки. Всякий раз во время нашего разговора я начинаю молоть какой-нибудь вздор, а Морри в ответ пытается

чему-то меня научить. Он предупреждает меня, что деньги в отличие от того, что думают многие студенты, в жизни не самое главное. Он говорит, что мне необходимо стать «совершенно человечным». Он считает, что молодежь изолирована от общества и что мне важно «соединиться» с людьми вокруг меня. Кое-что из того, что он говорит, я понимаю, а кое-что нет. Но мне это все безразлично. Важно лишь то, что я могу с Морри поговорить, как с отцом, ведь с моим собственным этого не получается — он хочет, чтобы я стал юристом. Морри терпеть не может юристов.

— Что же ты собираешься делать, когда окончишь колледж? — как-то раз спрашивает меня Морри.

— Хочу стать музыкантом, — отвечаю я. — Пианистом.

Замечательно, — говорит он, — но это нелегкий путь.

— Знаю.

— Кругом акулы.

— Об этом я слышан.

— И все же, — продолжает он, — если тебе этого по-настоящему хочется, у тебя получится.

Мне хочется поблагодарить его за эти слова, обнять, но такое не в моем характере. Я только киваю.

— Могу поспорить, что играешь ты с огромным воодушевлением.

Я смеюсь:

— С воодушевлением?

Морри тоже смеется:

— Да, с воодушевлением. А что, так больше не говорят?

Вторник первый. Мы говорим обо всем на свете

Конни открыла дверь ипустила меня дом. Морри сидел инвалидной коляске возле кухонного стола. На профессоре были свободная хлопчатобумажная рубашка и еще более свободные черные байковые штаны. Штаны казались такими свободными исключительно потому, что ноги Морри атрофировались и стали необычайно тонкими. Если б он мог встать, росту в нем было бы не больше пяти футов, и джинсы шестиклассника ему, пожалуй, оказались бы впору.

— Я кое-что принес, — объявили, придерживая в руках коричневый бумажный пакет.

По пути из аэропорта я та шел в ближайший магазин и купил немного индюшатины, картофельный и макаронный салаты и бублики. Я знал, что в доме есть продукты, но мне хотелось внести свою лепту.

Ведь во кем остальном я ничем не мог помочь. И потом я помнил, что Морри очень любил поесть.

— Ой, сколько еды! — восхитился Морри — Ну, теперь тебе придется поесть вместе со мной.

Мы сидели за кухонным столом, окруженные плетеными стульями. На этот раз нам не надо было возвращаться к шестнадцати прожитым врозь газам, и мы сразу же нырнули в знакомый поток нашего привычного университетского диалога: Морри задавал вопросы, слушал мои ответы, время от времени прерывая меня, чтобы, как опытный шеф-повар, добавить чего-нибудь, о чем я забыл или просто не догадался упомянуть. Он спросил меня о забастовке в газете и, верный самому себе, никак не мог взять в толк, почему обе стороны не могут поговорить друг с другом и решить свои проблемы. На что я ему ответил, что не все так умны, как он.

Время от времени Морри приходилось прерываться, чтобы сходить в туалет — это занимало время. Конни вкатывала его в ванную комнату, приподнимала с коляски и поддерживала, пока он мочился в пробирку. Всякий раз, когда возвращался, он выглядел усталым.

— Помнишь, как я сказал Теду Коппелу, что скоро кому-то придется вытирать мне задницу? — спросил Морри.

Я рассмеялся. Такое не забывается.

— Так вот, похоже, этот день не за горами. И это меня беспокоит.

— Почему?

— Потому что это признак полной зависимости.

Но я над этим работаю. Я стараюсь найти в этом удовольствие.

— Удовольствие?

— Да, удовольствие. В конце концов, еще раз в жизни буду младенцем.

Да, так, пожалуй, на это еще никто не смотрел.

— Так мне и приходится смотреть на жизнь под новым углом. Посуди сам: я не могу ходить в магазин, не могу платить по счетам, не могу выносить мусор. Но зато я могу сидеть здесь целыми днями — их остается все меньше — и наблюдать за тем, что в жизни важно. У меня есть время и есть на то причина.

— Так что же, — сказал я задумчиво, — получается, ключ к разгадке смысла жизни таится в невынесенном мусоре?

Он рассмеялся, а я с облегчением вздохнул.

Конни унесла грязные тарелки, и я вдруг заметил пачку газет, явно прочитанных профессором до моего прихода.

— Так вы следите за новостями? — спросил я.

— Да, — ответил Морри. — А ты находишь это странным? Ты думаешь, раз я умираю, меня не должно волновать, что творится в мире?

— Наверное.

Морри вздохнул:

— Может, ты и прав. Вероятно, меня не должно это волновать. В конце концов, я ведь даже не узнаю, чем все это кончится. Это трудно объяснить, Митч, но теперь, когда страдаю, я чувствую близость к другим страдающим людям гораздо сильнее, чем когда-либо прежде. На днях по телевидению я видел, как в Боснии люди бежали по улицам, а в них стреляли, их убивали — невинных людей... И я начал плакать. Я чувствовал их боль как свою собственную. Я не знаю никого из них, но — как бы это сказать? — я к ним испытываю особую привязанность.

Глаза его увлажнились, и я попытался сменить тему разговора, но Морри вытер лицо и отмахнулся:

— Не обращай внимания. Я теперь все время плачу.

«Поразительно, — подумал я. — На работе, имея дело с новостями, я не раз писал об умерших. Я брал интервью у скорбящих членов их семей. Я даже ходил на похороны. Но я никогда не плакал. А Морри лил слезы о незнакомых людях на другом конце планеты. *Может, это то, что ждет нас в конце?* Может быть, смерть и есть главный уравниватель, то великое, что в конечном счете заставляет незнакомых людей лить друг о друге слезы?»

Морри с шумом высморкался.

— Это ведь ничего, правда... когда мужчины плачут?

— Конечно, — согласился я слишком поспешно.

Морри улыбнулся:

— Митч, тебе надо расслабиться. Когда-нибудь я сумею убедить тебя, что плакать дозволено.

— Да-да, конечно, — отозвался я.

— Да-да, конечно, — повторил он.

И мы оба рассмеялись, потому что Морри часто говорил это почти двадцать лет назад. И в основном по вторникам. Фактически мы всегда встречались по вторникам. Большинство моих занятий с Морри выпадало на вторники, его часы приема были во вторник, и, когда я писал свой дипломный проект на тему, предложенную Морри, мы по вторникам обычно садились в его кабинете, или в кафетерии, или на улице, на ступеньках одного из корпусов, и обсуждали мою работу.

Вот почему казалось само собой разумеющимся, что мы снова были вместе во вторник, здесь, в его доме, с красным кленом во дворе на лужайке. Уже поднявшись уходить, я сказал об этом Морри.

— Мы — люди вторника, — сказал профессор.

— Люди вторника, — повторил я.

Морри улыбнулся:

— Митч, ты спрашивал, почему я переживаю за людей, которых и в глаза не видел. Но знаешь, что я понял во время своей болезни?

— Что же?

— Самое главное в жизни — научиться дарить любовь и открывать для нее свое сердце. — Голос Морри опустился до шепота. — Не бойся этого. Мы считаем, что не заслуживаем любви; мы думаем, что если откроем ей сердце, то станем слишком мягкими. Но один мудрый человек по фамилии Левин был прав. Он сказал: «Любовь — это единственный разумный акт».

И Морри повторил эти слова медленно, для большего эффекта:

— «Любовь — это единственный разумный акт».

Я кивнул, как примерный ученик, а Морри слабо выдохнул. Я наклонился, чтобы обнять его, и вдруг — что совсем мне не свойственно — поцеловал его в щеку. Я почувствовал, как его слабеющие руки коснулись моих, а редущая щетинка усов кольнула лицо.

— Так ты придешь в следующий вторник? — шепотом спросил он.

Морри входит в класс, садится, не произнося ни слова. Он

смотрит на нас, а мы смотрим на него. Поначалу раздаются смешки, но Морри только пожимает плечами. Устанавливается полная тишина, и мы вдруг начинаем замечать малейшие звуки: тихое позвякивание батареи в углу комнаты, посапывание одного студента.

Некоторые начинают волноваться: когда же профессор начнет говорить? Мы ерзаем, поглядываем на часы. Кое-кто смотрит в окно, делая вид, что он выше всего этого. Так продолжается минут пятнадцать, не меньше, пока Морри в конце концов не прерывает тишину шепотом:

— Что же тут происходит? — спрашивает он.

И мало-помалу начинается обсуждение — как Морри и рассчитывал с самого начала — того, какое влияние на отношения людей оказывает тишина. Почему тишина приводит нас в смущение? Почему мы чувствуем себя спокойнее в шуме?

Меня тишина не беспокоит. Несмотря на то что с друзьями я шумен, мне все еще неловко говорить о своих чувствах вслух, особенно с посторонними. Несли бы на уроке требовалось сидеть часами в тишине, я бы ничуть не возражал.

После урока, на пути к выходу, Морри меня останавливает.

— Ты сегодня какой-то молчаливый, — замечает он.

— Может быть. Просто нечего было добавить.

— А мне кажется, тебе было что добавить. Знаешь, Митч, ты напоминаешь мне одного человека, который, когда был помоложе, точно как ты, любил помалкивать.

— Кто же это?

— Я.

Вторник второй. Мы говорим о жалости к себе

Я вернулся в следующий вторник. И во многие другие вторники, что последовали за этим. Я ждал встреч с Морри больше, чем можно было бы предположить, учитывая, что мне надо было преодолеть семьсот миль, чтобы посидеть у постели умирающего. Но когда я посещал Морри, то, похоже, переносился в какое-то иное время, и себе я нравился гораздо больше. Я перестал брать напрокат сотовый телефон для поездок из аэропорта. «Пусть подождут», — говорил я себе, подражая Морри.

Газетные дела в Детройте лучше не стали. Более того, безумство нарастало. Начались мерзкие стычки между забастовщиками и теми, кого взяли на их места; а тех, кто ложился поперек улицы, преграждая путь грузовикам, доставлявшим газеты, избивали и арестовывали.

Так что мои визиты к Морри казались мне очищением человеческой добротой. Мы говорили о жизни и говорили о любви. Мы говорили на любимую тему Морри — о сострадании, и о том, почему в нашем обществе его так мало. Перед своим третьим посещением я зашел в магазин под названием «Хлеб и зрелища» — я заметил в доме Морри пакеты с его этикетками и решил, что профессору, наверное, нравятся продукты оттуда, — и купил вермишели с овощами и упаковок морковного супа.

Я вошел в кабинет Морри и приподнял пакет, как будто в нем были только что награбленные миллионы.

— Доставка продуктов! — завопил я.

Морри закатил глаза и улыбнулся.

А я тем временем приглядывался, не появились ли новые признаки прогрессирующей болезни. Пальцы Морри пока еще были в состоянии писать карандашом и держать очки, но руки уже не поднимались выше груди. Все меньше и меньше времени он проводил в кухне и гостиной, все больше — в кабинете, где для него стояло большое кресло с подушками, одеялами и специальными подставками из пенопласта, придерживающими ступни и дающими опору слабеющим ногам. Рядом с профессором лежал колокольчик, и всякий раз, когда ему нужно было повернуться или, как он выражался, «сходить на стульчак», он звонил, и кто-нибудь приходил помочь. У Морри не всегда хватало сил позвонить в колокольчик; и если это у него не получалось, он очень расстраивался.

Я спросил Морри, жалеет ли он себя.

— Иногда по утрам, — ответил он. — Это время, когда я горюю. Я ощупываю свое тело, шевелю пальцами и руками — всем тем, что еще движется, — и горюю обо всем, что потерял. Я горюю о своем медленном, коварном умирании. А потом вдруг перестаю горевать.

— Вот так, сразу?

— Если мне надо поплакать, я плачу. А потом сосредоточиваюсь на всем хорошем, что у меня в жизни осталось. На людях, которые придут меня повидать. На историях, которые услышу. На тебе, если это вторник. Потому что мы ведь люди вторника.

Я улыбнулся. Люди вторника.

— Митч, я позволяю себе пожалеть себя лишь самую малость. Чуть-чуть каждое утро, немного поплачу, и все.

Я подумал обо всех своих знакомых, которые поутру часами жалеют себя. Неплохо было бы наложить ограничение на ежедневную жалость к себе. Поплакал минуту-другую — и пошел дальше. И если Морри при его ужасной болезни удастся это...

— Моя болезнь ужасна, если только считать ее таковой, — сказал Морри. — Ужасно наблюдать, как тело постепенно угасает и превращается в тлен. Но чудесно то, что у меня есть столько времени со всеми попрощаться. — Он улыбнулся. — Не всем так везет.

Я внимательно посмотрел на него, неподвижно сидевшего в кресле, неспособного ни подняться, ни умыться, ни натянуть штаны. Везет? Неужели он и вправду сказал «везет»?

Во время перерыва, когда Морри пошел в туалет, я стал листать бостонскую газету, лежавшую рядом с его креслом. Мне попала статья о двух девочках-подростках из маленького провинциального городка, которые замучили и убили подружившегося с ними семидесятитрехлетнего старика, а потом устроили вечеринку в его вагончике и хвастались содеянным перед друзьями. И еще одна статья о приближающем суде над мужчиной, убившем гомосексуалиста, который по телевидению признался ему в любви.

Я отложил газету. Вкатили Морри, как всегда улыбающегося, и Конни уже собралась приподнять его, чтобы пересадить из коляски в кресло.

— Хотите, я вас пересажу? — спросил я.

Воцарилась тишина — я и сам не знал, почему вдруг предложил это. Но Морри посмотрел на Конни и сказал:

— Вы можете показать ему, как это делается?

— Конечно, — ответила Конни.

Следуя ее указаниям, я подхватил Морри под мышки и потянул на себя, точно пытался поднять с земли бревно. Потом выпрямился и потащил его вверх. *Обычно тот*, кого поднимают, крепко держится за тебя, но *Морри это было* никак не по силам. Я чувствовал, как его голова мягко ударялась о мое плечо, а обвисшее тело напоминало огромный влажный батон хлеба.

— А-а-а, — едва слышно застонал Морри.

— Держу вас, держу, — отозвался я.

Невозможно описать словами, как трогательно было держать его вот так в своих объятиях. Я вдруг почувствовал ростки смерти в его увядающей оболочке; и, усадив Морри в кресло и уложив на подушки его голову, нежданно явственно осознал: время наше на исходе.

Я должен был что-то сделать.

Я на третьем курсе университета Брандейса, 1978 год; музыка в стиле диско и фильм «Роки» кажутся шедеврами американской культуры. А мы в необычном классе по социологии, Морри называет его «Процесс групп». На занятиях мы изучаем, каким образом студенты в группе взаимодействуют друг с другом: как реагируют на гнев, зависть, внимание. Мы — людские подопытные кролики. Нередко кончается тем, что кто-то плачет. Я называю этот курс трогательно-чувствительным. Морри советует мне расширить свой взгляд на жизнь.

И вот Морри говорит, что у него для нас заготовлено новое упражнение. Надо встать, повернуться спиной к своему однокласснику и начать падать на спину в надежде, что стоящий сзади тебя подхватит. Большинству из нас неловко: мы отклоняемся на несколько дюймов и тут же выпрямляемся. И смущенно смеемся.

И вдруг одна студентка, тихая, худенькая, темноволосая девушка, что вечно носит мешковатые «рыбацкие» свитера, скрещивает руки на груди, закрывает глаза и бросается спиной вниз — ну прямо как манекенщица в рекламе чая «Липтон».

Какое-то мгновение мне кажется, что она грохнется на пол. И вдруг в последний момент ее партнер хватает ее за плечи и резко выталкивает вверх.

— Ох! — вырывается у нас, а некоторые даже аплодируют. Морри улыбается.

— Видишь, — говорит он девушке, — все, что надо было сделать, это закрыть глаза. Иногда невозможно поверить в то, что видишь, — приходится верить тому, что чувствуешь. И если вы хотите, чтобы другие доверяли вам, вы должны чувствовать, что можете доверять им даже с закрытыми глазами. Даже когда падаете.

Вторник третий. Мы говорим о сожалении

В следующий вторник я приехал, как обычно, с пакетом продуктов — макароны с кукурузой, картофельный салат, яблочный пирог — и еще кое с чем: магнитофоном «Сони».

Я сказал Морри, что хочу запомнить то, о чем мы говорим. Хочу сохранить его голос, чтобы слушать его... потом.

— Когда я умру, — уточнил он.

— Не надо так говорить.

Морри засмеялся:

— Митч, это ведь случится. И скорее рано, чем поздно.

Морри стал разглядывать новое устройство.

— Какой большой, — заметил он.

Я почувствовал, что веду себя бесцеремонно — это нередко свойственно репортерам, — и начал подумывать, что, возможно, эта штукавина в присутствии двух друзей, каковыми мы себя считали, была инородным телом, каким-то искусственным ухом. К тому же столько людей жаждали внимания Морри, а я, наверное, в эти вторники претендовал на слишком многое.

— Послушайте, — сказал я, отодвигая от профессора магнитофон, — нам вовсе не обязательно этим пользоваться. Если вам от него не по себе...

Он прервал меня, погрозив пальцем, а потом снял очки, и они закачались на веревочке на его шее.

— Поставь его на место, — сказал Морри.

Я поставил.

— Митч, — голос Морри звучал теперь очень тихо, — ты не понимаешь. Я хочу рассказать тебе о своей жизни. Я хочу рассказать тебе, пока еще в силах. — Его голос снизился до шепота. — Я хочу, чтобы кто-нибудь послушал мой рассказ. Ты слушаешь?

Я кивнул. В комнате стало совсем тихо.

— Ну, — сказал вдруг Морри, — он включен?

По правде говоря, значение магнитофона было не только ностальгическое. Я терял Морри, мы все теряли его: семья, друзья, бывшие студенты, коллеги-профессора, приятели из групп политических дискуссий, которыми он так увлекался, бывшие партнеры по танцам — все мы. А магнитофонные пленки — так же, как и фотографии и видеофильмы, — отчаянная попытка тайком умыкнуть хоть что-то из саквояжа смерти.

Но помимо этого, мне становилось все яснее и яснее: из наблюдений за мужеством, юмором, терпением, открытостью Морри, — что он смотрит на жизнь с какой-то совсем иной, никому из моих знакомых не свойственной, точки зрения. Более здоровой. Более разумной. *И он должен был вот-вот умереть.* Морри заглянул смерти в глаза, и мысли его приобрели некую необъяснимую ясность. Я знал: он хочет ими поделиться. А я хотел удержать их в памяти — как можно дольше.

Когда я увидел Морри в шоу «Найтлайн», мне стало любопытно: жалеет ли он о чем-то теперь, когда знает, что скорая смерть неминуема. Жалко ли ему потерянных друзей? Хочется ли ему, чтобы многое было по-другому? С присущим мне эгоизмом я думал: «А если бы я был на его месте, снедали бы меня грустные мысли о безвозвратно утерянном? Стал бы я сожалеть о скрываемых мной тайнах?»

Когда я упомянул об этом Морри, он кивнул:

— Это волнует всех, не правда ли? А вдруг сегодня мой последний день на земле?

Морри пристально посмотрел на меня и, возможно, заметил, что на лице моем отразилась растерянность. Я вдруг увидел, как в один прекрасный день, не успев завершить очередной репортаж, я замертво валюсь на письменный стол, а редакторы судорожно хватают неоконченную рукопись, в то время как медики уносят мое бездыханное тело.

— Митч? — слышался голос Морри.

Я встряхнул головой и ничего не ответил. Но профессор уловил мое замешательство.

— Митч, наше общество не поощряет мыслей о таких вещах до тех пор, пока мы не стоим на пороге смерти. Мы вовлечены во все индивидуалистическое: карьеру, семейные дела, зарабатывание денег, погашение кредита на дом, покупку новой машины, починку радиатора, — мы совершаем миллиарды мелких действий, одно за другим. У нас нет привычки остановиться, взглянуть на свою жизнь и спросить: «И это все? Это все, что я хочу? Может, чего-то не хватает?»

Он помолчал.

— Надо, чтобы кто-то подтолкнул тебя в этом направлении. Это не случается само по себе.

Я понимал, о чем он говорит. Каждому из нас в жизни нужен учитель.

Мой сидел напротив меня.

«Что ж, — решил я, — раз суждено снова стать студентом, буду стараться вовсю».

По дороге домой, в самолете, в маленьком желтолистом блокноте я написал список вопросов, которые всех нас мучают: начиная от счастья, старения, воспитания детей и кончая смертью. Конечно, есть миллионы книг на эти темы, и тьма телевизионных передач, и консультативные занятия по девяносто долларов за час. Америка превратилась в восточный базар взаимопомощи.

И все же ясных ответов не было. То ли надо заботиться о других, то ли о своей душе? Вернуться к традиционным ценностям или отвергнуть традиции за их полной ненужностью? Стремиться к успеху или стремиться к простоте? Научиться говорить «нет» или научиться действовать?

Я знал одно: Морри, мой старый профессор, не был вовлечен в систему взаимопомощи. Он стоял на рельсах, прислушивался к свистку паровоза смерти и с полной ясностью представлял, что в жизни было важно.

А мне нужна была ясность. Каждой сбивой с толку и мучимой сомнениями душе нужна ясность.

— Спроси меня о чем хочешь, — бывало, говорил Морри.

Вот я и написал этот список:

Смерть.
Страх.
Старение.
Жадность.
Брак.
Семья.
Общество.
Прощение.
Осмысленная жизнь.

Этот список лежал у меня в сумке, когда я вернулся в Западный Ньютон в четвертый раз во вторник в конце августа. В аэропорту Логан в тот день не работали кондиционеры, люди обмахивались чем попало и сердито вытирали пот с лица; каждый встречный, казалось, готов был кого-нибудь пристукнуть.

К началу последнего года учебы в университете я прошел

столько курсов социологии, что до степени бакалавра уже рукой подать. Морри предлагает мне написать дипломную работу повышенной трудности.

— Мне? — изумляюсь я. — О чем же я напишу?

— А что тебя интересует?

Мы перебираем множество идей и в конечном счете — трудно поверить — останавливаемся на спорте. И я берусь за годовой проект о том, как футбол в Америке задурманивает сознание людей, превратившись в священный обряд, чуть ли не в религию. Я понятия не имею, что проект этот станет прологом моей будущей карьеры. Я думаю лишь об одном: благодаря этому проекту каждую неделю я лишний раз встречусь с Морри.

И с его помощью к весне у меня готов 112-страничный проект, со сносками, приложениями, с результатами исследований и комментариями, аккуратно переплетенный, в кожаной обложке. Я приношу его Морри с гордостью спортсмена-юниора, одержавшего первую в жизни победу.

— Поздравляю, — говорит Морри.

Он листает проект, а я, улыбаясь, обвожу взглядом его кабинет. Полки с книгами, деревянный пол, ковер, кушетка. Я думаю, что в этой комнате, наверное, нет ни единого места, где бы я ни сидел.

— Знаешь, Митч, — Морри с задумчивым видом поправляет очки, — с такой работой тебя могут взять к намучиться на магистра.

— Да, как же, — усмехаюсь я.

Усмешка усмешкой, а мысль эта мне по душе. Мне немного страшно уходить из университета и в то же время — отчаянно хочется уйти. Напряжение противоположностей. Я наблюдаю, как Морри читает мой проект, и меня вдруг начинает разбирать страшное любопытство: каков он, этот огромный мир за стенами университета?

Наглядные пособия. Часть вторая

«Найтлайн» сделала еще одну передачу с Морри, отчасти потому, что первая вызвала столько откликов. На этот раз, когда операторы и постановщики прошли в дом, они уже расположились по-семейному. И сам Коппел держался заметно дружелюбнее. На этот раз не было пояснительной заставки и интервью перед интервью. Для затравки Коппел и Морри обменялись рассказами о своем детстве: Коппел описал, как он рос в Англии, а Морри поведал, как рос в Бронксе. На Морри была синяя рубашка с длинным рукавом — ему теперь всегда было холодно, даже когда на дворе стояла жара, — а Коппел снял пиджак и остался в рубашке и галстуке. Похоже, Морри снимал с него «амуницию» слой за слоем.

— Вы хорошо выглядите, — сказал Коппел, когда зажужжали камеры.

— Все мне так говорят, — ответил Морри.

— И ваш голос звучит хорошо, — продолжал Коппел.

— Все так говорят.

— А откуда же вы знаете, что вам становится хуже?

Морри вздохнул:

— Никто, кроме меня, этого не знает, Тед. Но я-то знаю.

Когда Морри заговорил, все стало ясно. Он уже не размахивал руками, как прежде, во время первой беседы. С трудом произносил некоторые слова — буква «л», казалось, застревала у него в горле. Через несколько месяцев он скорее всего вообще не сможет говорить.

— А что до моих эмоций, — объяснял Морри Коппелу, — то, когда ко мне приходят друзья и знакомые, настроение у меня хорошее. Любящие люди поддерживают меня. Но бывают дни, когда я подавлен. Что таить, я вижу, что происходит, и меня охватывает ужас. Что я буду делать без рук? Что случится, когда я не смогу больше говорить? Смогу ли я глотать, меня не особо волнует — ну, будут меня кормить через трубочку, что с того. Но мой голос! Мои руки! Они для меня все. Без голоса я не смогу говорить, а без рук не сделаю ни жеста. Это для меня средства.

— Как же вы собираетесь общаться, когда не сможете больше разговаривать? — спросил Коппел.

Морри пожал плечами:

— Наверное, попрошу всех задавать мне вопросы, на которые можно ответить только «да» или «нет».

Ответ этот показался Коппелу таким простым, что он улыбнулся.

Коппел спросил Морри о тишине. Он вспомнил о близком друге профессора, Мори Штейне, который в свое время послал в «Бостон глоуб» высказывания Морри. Они вместе работали в университете Брандейса с начала шестидесятых. Теперь Штейн терял слух. Коппел представил, как однажды они окажутся вдвоем, и один не сможет говорить, а другой ничего не будет слышать. И что же будет?

— Я возьму его руку в свою, — сказал Морри. — И мы оба ощутим нашу близость и теплоту. Тед, мы дружим уже тридцать пять лет. Чтобы почувствовать то, что мы испытываем друг к другу, нам уже не нужно ни речи, ни слуха.

Перед самым концом съемки Морри прочитал Коппелу одно из полученных им писем. После первой передачи на «Найтлайн» их пришла уйма. И вот одно было от учительницы из Пенсильвании, которая вела занятия в специальной группе — в ней было всего девять детей, и каждый пережил смерть кого-то из родителей.

— Вот, что я ей ответил. — Морри осторожно водрузил на нос очки. — Дорогая Барбара... Меня очень тронуло ваше письмо. То, что вы делаете для детей, потерявших родителей, необычайно важно. Я тоже потерял одного из родителей в раннем возрасте...

И тут, при все еще жужжавших кинокамерах, Морри поправил очки, замолчал... и вдруг закусил губу и закашлялся. По лицу его потекли слезы.

— Я потерял маму, когда был еще совсем ребенком... и это был для меня страшный удар... Если бы в то время у меня была такая группа, как ваша, где я мог бы поделиться своим горем, я бы обязательно стал ходить в такую группу, потому что... — голос его дрогнул, — ...потому что я был так одинок...

— Морри, — заговорил Коппел, — ваша мать умерла семьдесят лет назад. И вы до сих пор это переживаете?

— Конечно, — едва слышно ответил Морри.

Профессор. Часть первая

Ему тогда было восемь. Из больницы пришла телеграмма, а так как его отец, эмигрант из России, не умел читать по-английски, новость пришлось сообщать самому Морри и, точно ученику перед классом, зачитывать извещение о смерти матери.

— «С прискорбием сообщаем...» — начал читать Морри.

Утром в день похорон родственники Морри спускались по ступенькам их многоквартирного дома в бедном районе Манхэттена. Мужчины были в темных костюмах, а на женщинах — черные вуали. Соседские дети шли в это время в школу, и, когда они проходили мимо, Морри опускал глаза, сгорая от стыда за свое положение. Одна из тетюшек, грузная женщина, схватила Морри в охапку и завывала:

— Что же ты будешь делать без матери? *Что из тебя получится?*

Морри разразился слезами. А одноклассники убежали.

На кладбище Морри смотрел, как засыпали землей могилу матери, и пытался вспомнить все минуты нежности, проведенные с ней. Мама, пока не заболела, управляла конфетной лавкой. А когда заболела, то либо спала, либо сидела у окна, хрупкая, совсем без сил. Время от времени она кричала сыну принести ей лекарство, а маленький Морри, игравший с друзьями во дворе, делал вид, что не слышит. Он верил, что, если не обращать на болезнь внимания, она пройдет сама собой.

А как еще ребенок может противостоять болезни?

Отец Морри, которого все называли Чарли, приехал в Америку, чтобы избежать службы в русской армии. Он работал в меховом бизнесе, но почти все время был без работы. Без образования, с трудом говоря по-английски, он едва сводил концы с концами, и семья почти постоянно была на содержании государства. Их квартира позади лавки была тесной, темной и мрачной. Денег еле-еле хватало на самое необходимое. Иногда, чтобы немного заработать, Морри и его младший брат Дэвид вдвоем — за пять центов! — мыли лестницу.

После смерти матери, мальчиков послали в Коннектикут, где несколько семей снимали большой бревенчатый дом с общей кухней прямо в лесу. Мальчикам будет хорошо на свежем воздухе, решили родственники. Ни Морри, ни Дэвид никогда в жизни не видели столько зелени, они целыми днями гоняли по полям. Однажды после обеда они отправились на

прогулку, и вдруг пошел дождь. Но вместо того, чтобы вернуться в дом, они еще долго-долго плескались под дождем.

На следующее утро, когда они проснулись, Морри вскочил с кровати.

— Давай вставай, — сказал он брату.

— Я не могу.

— Как это не можешь?

На лице Дэвида отразился ужас:

— Я не могу пошевелиться.

У мальчика начался полиомиелит.

Конечно, это случилось не из-за дождя. Но ребенок в возрасте Морри не мог этого понять. Долгое время, когда брат кочевал из одного лечебного заведения в другое и его заставляли носить корсеты, из-за которых он хромотал, Морри чувствовал себя виноватым.

По утрам Морри один шел в синагогу — отец его не был верующим — и, стоя среди мужчин в длинных черных одеждах, просил Бога позаботиться о его умершей матери и больном брате.

А днем у входа в метро он торговал вразнос журналами, отдавая все заработанные деньги семье на еду.

По вечерам он наблюдал, как отец ест в полном молчании, и тщетно надеялся хоть на какое-то внимание, нежность, теплоту.

В девять лет Морри чувствовал, как плечи его сгибаются под неимоверной тяжестью.

Но через год в жизни Морри произошла спасительная перемена: у него появилась мачеха, Ева. Иммигрантка из Румынии, невысокая, с курчавыми волосами и ничем не примечательными чертами лица, с энергией по крайней мере на двоих. Сумрачная атмосфера, созданная в доме отцом, вдруг озарилась теплым светом. Когда отец молчал, его жена говорила, а по вечерам пела детям песни. Ее мягкий голос, твердый характер и помощь с уроками стали для Морри утешением. Когда брат вернулся домой после лечения, все еще в корсете, и они стали вместе спать на кухне, Ева каждый вечер приходила поцеловать их перед сном. Морри ждал этих поцелуев, как щенок молока, и в глубине души чувствовал: у него снова есть мама.

Однако нищета их не оставляла. Теперь они жили в Бронксе в однокомнатной квартире в красном кирпичном доме на Тремонт-авеню, рядом с итальянским садом, где в летние вечера старики перебрасывались мячом. Была депрессия, и у отца Морри работы в меховом бизнесе стало еще меньше, чем прежде. Порой, когда семья садилась обедать, Еве, кроме

хлеба, нечего было подать к столу.

— А что еще мы будем есть? — бывало, спрашивал Дэвид.

— Больше ничего, — отвечала Ева.

Укладывая Морри и Дэвида в постель, Ева обычно пела им на идиш. И даже эти песни были грустные и жалкие. Одна из них была о мальчике, пытавшемся продать папиросы.

Прошу, купите, купите, папиросы.

Они сухи, не мочены дождем.

Сироту вы пожалейте...

И все же, несмотря на печальные обстоятельства, Морри учили любить людей и заботиться о них. И учиться. Ева признавала только отличные отметки, так как считала, что образование — единственное спасение от нищеты. Она сама пошла в вечернюю школу совершенствоваться в английском. Это Ева привила Морри необыкновенную любовь к знаниям.

По вечерам Морри садился за кухонный стол и подолгу занимался. А утром шел в синагогу читать «Изкор», молитву по умершим, чтобы сохранить память о своей матери. Невероятно, но отец велел Морри никогда больше не упоминать о ней. Чарли хотел, чтобы маленький Дэвид считал Еву своей родной матерью.

Для Морри это было ужасное бремя. Единственным свидетельством существования его матери была телеграмма о ее смерти. Морри спрятал ее в тот день когда она пришла.

И хранил до конца своей жизни.

Морри был еще подростком, когда отец взял его с собой на меховую фабрику, где работал. Это было во времена депрессии. Отец искал для Морри работу.

Едва Морри зашел на фабрику, как ему тут же почудилось, будто ее стены сомкнулись у него над головой. Помещение, темное и жаркое, закопченные окна, станки, теснящиеся друг к другу и громыхающие, как колеса поезда. Загустевший воздух, пронизанный летающими ворсинками меха, и рабочие, сшивающие куски меха, низко склонившись над столами, в то время как хозяин прогуливается по рядам, покрикивая на них, чтобы работали быстрее. Морри почувствовал, что задыхается. Прижавшись к отцу, почти мертвый от страха, он думал лишь об одном: только бы хозяин

не начал орать и на него.

В обеденный перерыв отец повел Морри к начальнику; подтолкнув сына вперед, он спросил, есть ли на фабрике работа для мальчика. Но работы едва хватало для взрослых, и никто из них не собирался уходить.

Для Морри это оказалось спасением. Он уже возненавидел это место. Он поклялся себе, что никогда не будет эксплуатировать труд других людей.

Чем же ты будешь заниматься? — бывало, спрашивала Ева.

— Не знаю, — отвечал Морри. Он отверг юриспруденцию, так как терпеть не мог юристов, и отверг медицину, так как не выносил вида крови.

— *Чем же ты будешь заниматься?*

И лишь совершенно случайно лучший профессор в моей жизни стал учителем.

Вторник четвертый. Мы говорим о смерти

Влияние учителя вечно; никогда не знаешь, где оно кончается.

Генри Адамс

— Давай начнем с того, — сказал Морри, — что каждый знает: он когда-нибудь умрет, но никто в это не верит.

В тот вторник Морри был настроен по-деловому. Предметом нашей беседы была смерть, первая тема в моем списке. Еще до моего приезда Морри нацарапал на листочках бумаги кое-какие заметки, чтобы потом не забыть. Его корявый почерк теперь не мог разобрать никто, кроме него самого. Это было незадолго до Дня труда, и сквозь окна его кабинета виднелась живая изгородь цвета шпината да слышались крики детей, игравших на улице в последнюю неделю свободы перед началом учебного года.

Дома, в Детройте, газетные забастовщики вовсю готовились к огромному праздничному маршу — продемонстрировать солидарность профсоюзов в борьбе против администрации. По дороге, в самолете, я прочитал о женщине, убившей мужа и двух дочерей, когда они спали, и утверждавшей, что она защищала их от «плохих людей». А в Калифорнии защитники О. Дж. Симпсона становились знаменитостями.

Здесь же, в кабинете Морри, текла совсем иная жизнь — один бесценный день сменялся другим. И вот мы сидели рядом, в двух шагах от последнего новшества в доме — кислородного устройства. Иногда ночами Морри не хватало воздуха, и он присоединял к носу длинную пластмассовую трубку, впивавшуюся в кожу подобно пиявке. Одна мысль о том, что Морри подключен к какому-то устройству, была мне ненавистна, и я, слушая профессора, старался на него не смотреть.

— Каждый знает, что умрет, — повторил: Морри. — Но никто не верит. Потому что если б мы верили, то жили бы по-другому.

— Значит, мы все обманываемся насчет смерти? — спросил я.

— Да. Но есть подход и получше. Знать, что ты умрешь, и быть к этому готовым в любое время. И это действительно лучше. Так ты полнее участвуешь в своей собственной жизни.

— Но как же можно быть готовым к смерти?

— Ну, например, как буддисты. Представь, что каждый день у тебя на плече сидит птичка и спрашивает то, что ты мысленно должен спросить себя: «Сегодня и есть тот самый день? Я готов? Я делаю все, что мне надо делать? Я таков, каким хочу быть?»

И Морри повернул голову так, словно на плече у него и вправду сидела птичка.

— Сегодня мой последний день? — спросил он.

Морри с легкостью заимствовал идеи из разных религий. Он был рожден иудеем, но в подростковом возрасте стал агностиком, частично из-за того, что с ним случилось в детстве. Ему нравились некоторые постулаты буддизма и христианства, но его родной по-прежнему была еврейская культура. Он не был знатоком религии. И то, что он говорил в последние месяцы своей жизни, казалось выше религиозных различий. Смерти это под силу.

— Истина в том, Митч, — сказал Морри, — что стоит научиться умирать, как обучаешься жить.

Я кивнул.

— Я снова это повторяю, — продолжил Морри. — Стоит научиться умирать, как обучаешься жить.

Он улыбнулся, и я понял, чего он хотел этим повторением достичь. Он хотел убедиться в том, что я осознал им сказанное, при этом не смущая меня ненужными вопросами. Этот прием был одним из многих, делавших его хорошим; учителем.

— А до болезни вы много думали о смерти? — спросил я.

— Нет, — улыбнулся Морри. — Я был как все. Однажды в минуту безудержной радости я сказал своему другу: «Я буду самым здоровым стариком на свете!»

— И сколько же вам тогда было лет?

— Больше шестидесяти.

— Значит, вы были оптимистом.

— А почему бы и нет. Как я тебе уже сказал, никто по-настоящему не верит, что умрет.

— Но ведь каждый человек знает хоть кого-нибудь, кто уже умер, — возразил я. — Так почему же так трудно осознать неизбежность смерти?

— Потому что большинство из нас бродит будто во сне. Мы не ощущаем мир во всей его полноте, потому что мы полусонные и делаем многое по привычке, то, что нам кажется необходимо делать.

— А когда оказываешься перед лицом смерти, все меняется?

— Конечно. Ты отшелушиваешь все лишнее и сосредоточиваешься на

важном. Как только понимаешь, что можешь умереть, все видишь совершенно по-другому.

Морри вздохнул. *Научись умирать, и ты научишься жить.*

Я заметил, что теперь, когда он двигает руками, они трясутся. Очки у него обычно висели на шее, и, когда он приподнимал их к глазам, они соскальзывали у него по вискам, как будто он пытался их надеть в темноте, и не на себя, а на кого-то другого. Я наклонился к нему помочь заправить дужки за уши.

— Спасибо, — прошептал Морри.

Я заметил, что, когда коснулся его головы, лицо его озарилось улыбкой. Малейшее прикосновение мгновенно вызывало у Морри радость.

— Митч, можно я скажу тебе что-то?

— Конечно.

— Но тебе это может не понравиться.

— Почему?

— Понимаешь ли, суть в том, что если и вправду прислушиваться к птичке на плече, *если всерьез принимать то, что ты можешь умереть в любую минуту*, тогда вряд ли стоит быть таким честолюбивым, как ты.

Я с трудом улыбнулся. Морри продолжил:

— Все то, на что ты тратишь столько времени — вся твоя работа, — может показаться не таким уж важным. И ты скорее всего отыщешь время для иной, духовной пищи.

— Духовной пищи?

— Я знаю, ты терпеть не можешь слово «духовный». Ты считаешь это трогательно-чувствительной мутью.

— Как сказать...

Морри попробовал подмигнуть — не очень-то успешно, и я, не выдержав, расхохотался.

— Митч, — рассмеялся он вместе со мной, — даже я не знаю, что это такое — духовное развитие. Но одно я знаю: мы ограничены. Мы слишком вовлечены во все материальное, а оно нас не удовлетворяет. Мы воспринимаем любовь близких людей и вселенную вокруг нас как нечто само собой разумеющееся.

Он кивнул в сторону окна, из которого струился солнечный свет:

— Видишь то, что за окном? Ты можешь выйти из дома в любое время. Можешь бежать вдоль по улице и радоваться этому как сумасшедший. А я не могу. Не могу выйти на улицу. Не могу побежать. Не могу даже находиться на улице, чтобы не заболеть. Но знаешь что? Я *ценю* это окно больше, чем ты.

— Цените окно?

— Да, ценю. Я смотрю в него каждый день. Я замечаю перемены в деревьях и с какой силой дует ветер. Словно я и вправду могу следить сквозь оконное стекло за движением времени. Я знаю, время мое на исходе, и потому красота природы притягивает меня так, точно я вижу ее впервые.

Морри замолчал, и минуту мы оба не отрываясь глядели в окно. Я пытался увидеть то, что видел он. Пытался увидеть время и свою жизнь, медленно текущую мимо. Морри слегка наклонил голову к плечу.

— Птичка, это случится сегодня? — спросил он. — Сегодня?

* * *

Благодаря передаче на «Найтлайн», письма приходили к Морри со всего света. И когда он был в силах, его родные и друзья собирались у него и помогали писать на них ответы.

Однажды в воскресенье, когда его сыновья Роб и Ион были дома, все расположились в гостиной. Морри сидел в своей коляске, тощие ноги спрятаны под одеялом, и лишь только профессору становилось зябко, на плечи ему набрасывали куртку.

— Какое первое письмо? — спросил Морри.

Коллега стал читать письмо от женщины по имени Нэнси, у которой мать умерла от болезни Лу Герига. Она писала о том, сколько страданий ей принесла болезнь и смерть матери и что она хорошо понимает, как приходится страдать Морри.

— Ну что ж, — сказал Морри, когда письмо было дочитано, и закрыл глаза, — давайте начнем так: «Дорогая Нэнси! Вы очень тронули меня рассказом о своей матери. Я понимаю, через что вам пришлось пройти. Никому не избежать ни страдания, ни печали. Но горе и боль оказались для меня благотворными и, надеюсь, для вас тоже».

— Мне кажется, последнее предложение надо изменить, — сказал Роб. Морри на секунду задумался.

— Ты прав. А что, если так: «Я надеюсь, что в горе вы сумеете найти целительную силу». Так лучше?

Роб кивнул.

— И добавьте: «Спасибо, Морри».

Следующее письмо было от женщины по имени Джейн, благодарившей Морри за то сильное впечатление, что он произвел на нее, выступив в программе «Найтлайн». Она даже назвала его пророком.

— Высочайший комплимент, — заметил коллега Морри. — Пророк! Морри скорчил рожицу. Его явно насмешила подобная оценка.

— Поблагодарите ее за столь лестный отзыв и напишите: мне было приятно, что мои слова имели для нее какое-то значение. И не забудьте добавить: «Спасибо, Морри».

Следующим было письмо от англичанина, потерявшего мать и просившего Морри помочь ему наладить с ней контакт с помощью спиритизма. А еще было письмо от супружеской пары, собиравшейся приехать в Бостон, чтобы познакомиться с профессором. Затем шло письмо от бывшей студентки, описывавшей свою жизнь после окончания университета. В нем было и о самоубийстве, и о трех мертворожденных детях. И о матери, умершей от болезни Лу Герига. И о страхе, что она, дочь, может заболеть этим недугом. Письму не было конца. Две страницы. Три страницы. Четыре страницы.

Морри внимательно выслушал всю эту мрачную историю. Когда письмо было-таки дочитано, он мягко спросил:

— Ну, что же мы ответим?

Воцарилось молчание. Наконец Роб не выдержал:

— А давайте так: «Спасибо за ваше длинное письмо».

Все рассмеялись. А Морри посмотрел на сына и просиял.

Рядом с его стулом лежит бостонская газета с фотографией улыбающегося бейсболиста — он только что поймал мяч. Из всех существующих болезней, думаю я, Морри досталась та, что названа по имени спортсмена.

— Вы помните Лу Герига? — спрашиваю я.

— Я помню, как он стоял на стадионе и прощался.

— Значит, вы помните его знаменитую фразу.

— Какую? — спрашивает Морри.

— Ну что вы! Лу Гериг, Гордость Янки. Речь, что эхом неслась из репродукторов?

— Напомни мне. Произнеси эту речь.

Сквозь открытое окно я слышу, как подъехал мусоровоз. И хотя на дворе жарко, на Морри рубашка с длинным рукавом, а ноги укрыты одеялом. Кожа его бледна. Болезнь полностью овладела им.

Подражая Геригу, я начинаю громогласную речь, и слова мои точно отскакивают от стен стадиона:

— «Се-е-егодня-я-я... я чувствую себя... самым счастливым

челове-е-еком... на всей земле...»

Морри закрывает глаза и медленно кивает:

— М-да... Что ж, я такого не говорил.

Вторник пятый. Мы говорим о семье

Стояла первая неделя сентября, первая неделя занятий, и впервые за тридцать пять непрерывных лет в университете не было аудитории, где бы ждали появления Морри. Бостон заполнили студенты: что ни улица, то разгружаемый грузовик. А Морри в это время сидел у себя в кабинете, и это казалось несправедливым, словно профессор был ушедшим на покой футболистом, и вот в первое воскресенье на пенсии он сидит перед телевизором и думает: «А ведь я еще мог бы как они». По опыту знаю, что, как только начинается новый чемпионат, лучше их не трогать. И ничего не говорить. Но мне не нужно было напоминать Морри об истекающем времени.

Теперь в наших записываемых на пленку беседах мы пользовались не обычным микрофоном — Морри не мог держать его подолгу, — а маленьким, таким, как журналисты на телевидении прикрепляют к воротнику или лацкану пиджака. Но так как Морри носил только мягкие рубашки из хлопка, свободно на нем болтавшиеся, микрофон то и дело наклонялся и переворачивался, и мне приходилось его поправлять. Морри, похоже, это очень нравилось, поскольку я оказывался совсем близко. А его потребность в физическом ощущении любви стала сильнее прежнего. Наклоняясь к профессору, я слышал его свистящее дыхание, тихое покашливание и легкое прищмокивание губ перед тем, как сглотнуть.

— Ну, друг мой, — сказал Морри, — о чем мы будем говорить сегодня?

— Давайте поговорим о семье.

— О семье. — Морри на мгновение задумался. — Моя вот тут, как видишь, рядом со мной. — Он кивнул в сторону фотографий на книжных полках: маленький Морри с бабушкой, молодой Морри с братом Дэвидом, Морри с женой Шарлоттой, Морри с сыновьями: Робом, журналистом, работающим в Токио, и Ионом, специалистом по компьютерам, живущим в Бостоне. — Я думаю, в свете того, о чем мы говорили в прошлые недели, значение семьи кажется важнее, чем когда-либо, — сказал Морри. — Дело в том, что в наши дни, помимо семьи, нет иной надежной опоры. Во время моей болезни это стало для меня совершенно ясно. Если у тебя нет любви, поддержки и заботы семьи, тебе почти не на что рассчитывать. Нет ничего выше любви. Как сказал наш замечательный поэт Оден^[3]: «Любите друг друга — иль погибните вы».

«Любите друг друга — иль погибните вы», — записал я.

— Так это Оден сказал?

— «Любите друг друга — иль погибните вы». Хорошо сказано, правда? И справедливо. Без любви мы подобны птицам с переломанными крыльями, — продолжил Морри. — Представь себе, я был бы разведен, или жил совсем один, или у меня не было бы детей, эта болезнь — все, через что мне приходится пройти, — была бы для меня намного тяжелее. Я не уверен, что смог бы все это вынести. Конечно, меня бы навещали друзья, коллеги, но это совсем не то, что близкие, которые никуда не уйдут. Это совсем другое, когда кто-то родной постоянное рядом, постоянно приглядывает за тобой. В этом еще одно значение семьи: не только любить, но и дать любимому человеку понять, что о нем постоянно думают и заботятся. Это то, чего мне так не хватало, когда умерла мама, то, что я называю духовной защищенностью, — уверенность в том, что твоя семья всегда о тебе позаботится. Ничто не сравнится с этим. Ни деньги. Ни слава.

Морри мельком взглянул на меня и добавил:

— Ни работа.

Семья и воспитание детей — еще один из важных вопросов в моем списке. В том вопросе я хотел как следует разобраться, пока не поздно. Я рассказал Морри о дилемме, что стоит перед людьми моего поколения: многие боятся заводить детей, поскольку им кажется, что дети свяжут их по рукам и ногам и полностью завладеют их мыслями и чувствами, а им вовсе не хочется этого. Я признался, что такие мысли тревожат и меня.

И однако, глядя на Морри, я думал: «А если б на его месте оказался я и у меня не было бы ни семьи, ни детей, представлялась бы мне эта пустота столь невыносимой?» Морри вырастил двух любящих и заботливых сыновей, которые, как и он сам, не стеснялись проявлений любви. И если б он только пожелал, они бы мгновенно отложили все свои дела, чтобы неотступно быть при нем в последние минуты его жизни.

— Не нарушайте вашу жизнь, — сказал он им. — Иначе эта болезнь погубит не одного человека, а троих.

Даже умирая, он показывал своим сыновьям, с каким уважением относится к их жизни. Неудивительно, что, когда сыновья приходили к нему, нежности и шуткам не было конца.

— Когда люди спрашивают меня, стоит заводить детей или не стоит, я никогда не даю советов, — сказал Морри, глядя на фотографию своего старшего сына. — Я просто говорю: «Нет в мире ничего лучше, чем иметь детей». И все. И этому нет никакой замены. Этого не заменит ни друг, ни возлюбленная. Если вы хотите приобрести опыт полной ответственности за

другое человеческое существо и хотите научиться любви и глубочайшей близости, тогда заводите детей.

— Значит, если бы пришлось начать сначала, вы бы снова завели детей? — спросил я.

Я взглянул на фотографию. На ней старший сын целует Морри в лоб, а Морри, закрыв глаза, смеется.

— Завел бы я снова детей? — Морри с удивлением посмотрел на меня. — Да я бы не упустил такую возможность ни за что на свете. Хотя... — Морри сглотнул и положил фотографию на колени. — Хотя и приходится за это дорого расплачиваться.

— Потому, что придется их покинуть?

— Потому, что придется их *скоро* покинуть.

Он сжал губы, закрыл глаза, и я увидел, как по его щеке покатались слезы.

— А теперь, — тихо попросил он, — ты рассказывай.

— Я?

— Про свою семью. Я знаю, у тебя есть родители. Я познакомился с ними давно, на выпускной церемонии. И еще у тебя есть сестра, правда?

— Правда.

— Старшая, да?

— Старшая.

— И брат?

Я кивнул.

— Младший?

— Младший.

— Как у меня, — заметил Морри. — У меня тоже есть младший брат.

— Как у вас, — сказал я.

— И он тоже был на выпускной церемонии, правда?

Я закрываю глаза и тут же вижу нас всех, какими мы были шестнадцать лет назад. Горячее солнце, синие мантии, мы щуримся от солнца и обнимаем друг друга, позируя для фотографии, и кто-то говорит: «Раз, два, три-и-и...»

— Что случилось? — спрашивает Морри, замечая, что я вдруг притих. — О чем ты задумался?

— Да так, ни о чем, — отвечаю я и меняю тему разговора.

А дело в том, что у меня действительно есть брат, кареглазый блондин, на два года младше меня. Он так не похож на меня и на мою темноволосую

сестру, что мы, бывало, дразнили его подкидывая. «Незнакомцы оставили тебя у нас на крыльце и когда-нибудь вернутся за тобой», — уверяли мы его. Он плакал, а мы все равно твердили свое.

Мой брат рос, как растут многие младшие в семье дети: всеми любимый, избалованный, но с истерзанной душой. Он мечтал стать актером или певцом; за обедом он проигрывал перед нами целые телеспектакли, исполняя в них все роли подряд, не в силах при этом скрыть своей сверкающей улыбки. Я был хорошим учеником, он был плохим; я был послушным, он вечно нарушал правила; я держался подальше от спиртного и наркотиков, он перепробовал все на свете. Вскоре после окончания школы он переехал в Европу, предпочтя тамошний, менее торопливый, с его точки зрения, образ жизни. И все же он оставался в семье любимчиком. Когда он приезжал нас навестить, в присутствии этого забавного, необузданного парня я чувствовал себя скованным, консервативным.

По моим представлениям, при всех явных между нами различиях наши судьбы должны были разойтись в противоположных направлениях. И я оказался прав во всем, кроме одного. Со дня, когда умер мой дядя, я считал, что меня постигнет такая же участь: болезнь преждевременно унесет мою жизнь. И потому я в постоянном ожидании рака работал как заведенный. Я чувствовал, как болезнь дышит мне в затылок. Я знал: она неизбежна. Я ждал ее, как приговоренный ждет палача.

И я был прав. Болезнь пришла.

Но не ко мне.

Она поразила брата.

Тот же вид рака, что и у моего дяди. Рак поджелудочной железы. Редкая форма. И у самого младшего в нашей семье, блондина с карими глазами, начались химиотерапия и облучение. У него выпали волосы, а лицо исхудало донельзя. «Ведь это предназначалось мне», — думал я. Но мой брат — это не я и не мой дядя. Он — борец, и всегда им был, с самых ранних лет, еще с тех пор, когда мы дрались с ним в подвале и он умудрился прокусить мой ботинок, а я завопил от боли и отпустил его.

И брат начал сражение. Он жил тогда в Испании и стал биться с болезнью с помощью экспериментального лекарства, по сию пору недоступного в Штатах. Он летал по всей Европе в поисках новых средств. После пяти лет борьбы лечение, похоже, приостановило болезнь.

Это была хорошая новость. Плохая же новость заключалась в том, что брат не хотел, чтобы я был рядом с ним; ни я, ни кто-либо другой из нашей семьи. Сколько мы ни пытались звонить и навещать его, он не принимал

никого из нас, настаивая на том, что борьбу он должен вести сам. Месяцами от него не было ни слуху ни духу. Мы оставляли ему сообщения на автоответчике, но он на них не отвечал. Меня мучило чувство вины за то, что я ничего для него не делаю, и сжигало чувство гнева за то, что он не позволяет нам ему помочь.

И вот я снова окунулся в работу. Я работал потому, что над работой у меня был контроль. Я работал потому, что находил в этом смысл и получал отдачу. Но всякий раз, когда я звонил брату в Испанию и слышал на автоответчике его голос — брат говорил по-испански, еще одно свидетельство того, как далеки мы были друг от друга, — я бросал трубку и хватался за работу.

Возможно, в этом была одна из причин, почему меня так тянуло к Морри. Он допускал меня туда, куда мой брат отказывался допустить.

Оглядываясь назад, я думаю, что Морри знал об этом с самого начала.

Зима в далеком детстве, снежная гора в нашем пригородном районе. Мыс братом на санках: я спереди, он сзади. Его подбородок — на моем плече, его ступни касаются моих коленок.

Санки грохочут на ледяных залысинах горы. Скорость нарастает и нарастает.

— Машина! — слышится чей-то крик.

Мы видим, как она приближается слева. Мы пытаемся повернуть санки в сторону, но полозья не разворачиваются. Водитель гудит нам что есть силы и жмет на тормоза, а мы делаем то, что обычно делают в таких случаях дети, — спрыгиваем с санок. В куртках с капюшоном, мы, как бревна, катимся по холодному, мокрому снегу в полной уверенности, что еще минута — и мы окажемся под колесами машины. Мы трепещем от страха, и с воплем «А-а-а!» летим кувыркком: мир вверх дном, вверх ногами, вверх тормашками.

И вдруг... пустота. Мы больше никуда не катимся и, пытаюсь отдышаться, вытираем с лица мокрый снег. Водитель уже катит дальше по улице и, глядя на нас, крутит пальцем у виска. Мы спасены. Санки покоятся в сугробе, а наши друзья похлопывают нас по плечу, приговаривая: «Здорово!» и «Вы могли умереть!»

Я улыбаюсь брату — нас объединяет детская гордость. «Это было не так уж страшно», — думаем мы, готовые снова взглянуть в лицо смертельной опасности.

Вторник шестой. Мы говорим о чувствах

Я прошел мимо горного лавра и красного японского клена, поднялся по каменным ступеням крыльца дома Морри. Белый сточный желоб крышкой навис над входной дверью. Я позвонил, но дверь мне открыла не Конни, а жена Морри Шарлотт, красивая седоволосая женщина с певучим голосом. Она нечасто бывала дома, когда я приходил, так как по просьбе Морри продолжала работать в своем университете, и я удивился, что она в то утро осталась дома.

— У Морри сегодня нелегкий день,? — сказала она, рассеянно глядя вдаль, и двинулась на кухню.

— Жаль... — начал я.

— Нет-нет, он будет рад вас видеть, — поспешно отозвалась она. — Я уверена...

Она умолкла, не закончив фразы, и вдруг, слегка повернув голову, стала к чему-то прислушиваться. А потом заговорила снова:

— Я уверена... ему станет лучше, когда он узнает что вы пришли.

Я поднял с земли сумки.

— Мой обычный продуктовый взнос, — сказали шутливо.

Она улыбнулась в замешательстве:

— У нас уже так много еды. Он ничего не съел с прошлого раза.

Я оторопел.

— Он ничего не съел? — спросил я.

Шарлотт открыла холодильник, и я увидел знакомые коробочки: куриный салат, вермишель, овощи, фаршированный кабачок — все, что я принес для Морри. Она открыла морозилку, и там я увидел еще и другие коробочки.

— Морри теперь не может есть такую еду. Ему ее слишком трудно глотать. Ему теперь можно только протертое и жидкое.

— Но он мне ни разу об этом не сказал, — изумился я.

Шарлотт улыбнулась:

— Он не хотел вас обижать.

— Меня бы это не обидело. Я просто хотел хоть как-то помочь. Мне хотелось ему что-нибудь принести...

— Но вы ему *приносите*. Он так ждет вашего прихода. Он говорит о том, как ему важен ваш проект, и о том, что ему надо сосредоточиться и выделить для него время. Мне кажется, благодаря этому проекту он обрел

цель...

Снова на лице ее появилось то неуловимое выражение, словно она возвращалась откуда-то издалека. Я знал, теперь по ночам Морри было особенно тяжело: он не мог уснуть, а значит, и Шарлотт тоже не спала. Порой Морри лежал без сна, кашляя часами, пока отходила мокрота. Ночью при нем дежурила сиделка, а днем продолжали приходить посетители: бывшие студенты, коллеги-профессора, учителя медитации. Иногда по полдюжины посетителей в день, и чаще всего в то время, когда Шарлотт возвращалась с работы. Она переносила все это терпеливо, хотя эти посторонние ей люди крали у нее драгоценные минуты с Морри.

— ...да, цель, — продолжала она. — И это очень хорошо.

— Я надеюсь...

Я помог положить принесенную мной еду в холодильник. Полки на кухне были завалены посланиями, заметками, листками с информацией и медицинскими инструкциями. Лекарств на столе стало еще больше: селестон от астмы, ативан от бессонницы, напроксен от инфекций в соседстве с молочным порошком и слабительными. В коридоре открылась дверь.

— Может быть, он освободился... пойду посмотрю.

Шарлотт бросила взгляд на принесенную мной еду, и мне вдруг стало стыдно. Еще одно напоминание о том, что профессору уже больше никогда не доставит радости.

Болезнь с каждым днем становилась все тягостнее. Когда я наконец сел рядом с Морри, он сильно раскашлялся: сухой, надрывный кашель сотрясал его грудь. После очередного приступа он вдруг замер, закрыл глаза и глубоко вздохнул. А я сидел тихо и терпеливо ждал, пока он придет в себя.

— Пленка на месте? — неожиданно сказал Морри, не открывая глаза.

— Да-да, — отозвался я, нажимая кнопку.

— Я сейчас отстраняюсь от только что пережитого, — продолжал Морри, все еще не открывая глаз.

— Отстраняетесь?

— Да, отстраняюсь. И это важно делать не только таким, как я, но и таким совершенно здоровым, как ты. Научиться отстраняться. — Он открыл глаза и выдохнул: — Знаешь, что об этом говорит буддизм? Не цепляйся за вещи: ничто в этом мире не вечно.

— Но послушайте, разве не вы всегда говорили, что в жизни нужно все испытать? И хорошее и дурное.

— Да.

— А как же это возможно, если ты отстранен?

— Хм... Это вопрос по существу. Но отстраниться — вовсе не значит не дать опыту *пронизать* тебя насквозь. Наоборот, дай ему пронизать тебя *до отказа*. И это поможет тебе отстраниться.

— Ничего не понимаю.

— Возьмем, к примеру, любое чувство: любовь к женщине, или скорбь о любимом человеке, или то, что испытываю сейчас я, — боль и ужас перед смертельной болезнью. Если сдерживать эмоции, не позволять себе их испытывать в полной мере, то никогда не сумеешь от них отстраниться — страх поглотит тебя целиком и полностью. Страх боли, страх скорби. Страх перед своей беззащитностью в любви. Только ринувшись без оглядки в эти чувства, позволив себе погрузиться в них с головой, можно испытать их в полной мере. Узнай, что такое боль. Узнай, что такое любовь. Узнай, что такое скорбь. И лишь тогда ты сможешь сказать себе: «Что ж, я испытал это чувство. Я знаю, что оно собой представляет. Теперь мне надо от него отстраниться».

Морри замолчал и внимательно посмотрел на меня, словно пытаюсь удостовериться, что я правильно понимаю его.

— Я warn, ты думаешь, что псе это только о смерти. Но я тебе уже не раз говорил, что, учась умирать, учишься жить.

И Морри заговорил о самых тягостных минутах своей нынешней жизни, когда вдруг грудь сжимает как в тисках и кажется, что дышать больше нечем. Страшные мгновения, и первое, что он испытывал при этом, — смятение и ужас. Но как только он научился распознавать эти эмоции, проникать в их суть и чувствовать, как от них бегут мурашки по спине и жаром обдаёт мозг, он мог уже сказать себе: «Ну что ж, это страх. Отстранись от него. Отстранись».

Я подумал: ведь этою, чего нам так часто не хватает в повседневной жизни. Порой нам так одиноко, что хочется плакать, но мы не плачем, поскольку плакать не положено. Или вдруг почувствуешь прилив любви к живущему рядом с тобой человеку, но боишься вымолвить и слово из страха, что это может повредить вашим отношениям.

А Морри смотрел на это совершенно по-другому. Поверни кран до отказа. Купайся в эмоциях. Это не только не повредит тебе, это поможет. И если ты пошалишь страху проникнуть а тебя пли напятишь его как заношенную рубашку, скажи себе: «Ну и что, это всего лишь страх. Я знаю, с чем я имею дело. Почему я должен позволить страху мной помыкать?»

И то же самое с одиночеством: дай ему овладеть собой целиком и не

бойся поплакать. А потом скажи себе: «Что ж, я испытал одиночество, но оно меня не страшит. Теперь я отодвину его в сторону, потому что в мире есть и другие чувства и я хочу их тоже испытать».

— Отстраниться, — снова повторил Морри.

Он закрыл глаза. Закашлялся.

Снова закашлялся. А потом опять — громче, чем прежде.

И вот Морри уже задыхается; комок в легких, словно насмехаясь над ним, скачет вверх-вниз в груди, лишая его дыхания. Морри ловит ртом воздух, резко, отрывисто кашляет, потом закрывает глаза и начинает махать руками, точно теряя рассудок. Лоб у меня покрылся испариной. Я рванулся к нему, потянул его вперед и принялся стучать по спине меж лопаток. Морри прижал бумажную салфетку ко рту и выплюнул комок мокроты.

Кашель затих, и Морри, втягивая ртом воздух, откинулся на подушку.

— Вы в порядке? Вам лучше? — Я старался изо всех сил, чтобы он не заметил, как я напуган.

— Я... в порядке, — прошептал Морри и поднял вверх дрожащий палец. — Только... подожди минутку.

Мы сидели и молча ждали, пока его дыхание прилет в норму. Я чувствовал, что лоб мой весь влажный. Морри попросил меня закрыть окно — ему было холодно от легкого ветерка. За окном было двадцать пять градусов тепла, но я не стал говорить этого Морри.

И вдруг он прошептал:

— Я знаю, как я хочу умереть.

Я молча ждал, что он еще скажет.

— Я хочу умереть тихо. Безмятежно. Не так, как было минуту назад. И тут отстранение будет очень кстати. Если вдруг смерть придет ко мне во время приступа кашля, мне надо будет отстраниться от страха и сказать себе: «Вот и пришел мой час». Я не хочу покинуть этот мир в страхе. Я хочу знать, что со мной происходит, принять это, смириться и уйти. Ты понимаешь меня?

Я кивнул.

— Только пока не уходите, — поспешно сказал я.

Морри болезненно улыбнулся:

— Нет. Не сейчас. Мы ведь еще не закончили наше дело.

— Вы верите в переселение душ? — спрашиваю я.

— Кто его знает.

— А кем бы вы хотели стать?

— Если бы у меня был выбор — газелью.

— Газелью?

— Да, газелью. Они такие грациозные. Стремительные.

— Газелью?

Морри улыбается:

— Ты думаешь, это странный выбор?

Я внимательно смотрю на его сморщенное тело, мешковатую одежду, ноги в толстых носках, неподвижно покоящиеся на резиновой подушке, ноги, не способные двигаться, словно он преступник, закованный в кандалы. А потом представляю несущуюся по пустыне газель.

— Нет, — говорю я. — Я не думаю, что это странный выбор.

Профессор. Часть вторая

Морри, которого знал я и знали многие другие, не был бы тем, кем он был, если б не проработал столько лет в психиатрической больнице в окрестностях Вашингтона, заведении с обманчиво безмятежным названием «Приют под каштанами». Это было одно из первых мест его работы, после того как он получил степень магистра, а потом и доктора философии в Чикагском университете. Отвергнув медицину, юриспруденцию и бизнес, Морри считал, что исследовательская работа — та сфера, в которую он сможет внести свою лепту, при этом никого не эксплуатируя.

Морри предоставили возможность наблюдать за психическими больными и их лечением. И хотя теперь это кажется обыденным, в начале пятидесятых годов это было неслыханное новшество. Морри наблюдал за пациентами, которые весь день орали. За пациентами, которые всю ночь плакали. За пациентами, которые пачкали свое нижнее белье. За пациентами, которые отказывались есть, и их кормили через капельницу.

А одна больная женщина средних лет каждый день выходила из своей палаты, ложилась на кафельный пол лицом вниз и так лежала часами. Врачам и медсестрам приходилось обходить ее. Морри наблюдал все это в ужасе. И записывал в блокнот — это ему и предназначалось выполнять по роду службы. Из дня в день эта женщина делала одно и то же: выходила из палаты, ложилась на пол и лежала до вечера, ни с кем не разговаривая. Никто ее не замечал. Морри это очень огорчало. И он стал садиться рядом с ней на пол, а иногда даже ложиться возле нее, чтобы хоть как-то облегчить ее горе. В конце концов ему удалось уговорить ее сесть и даже вернуться к себе в палату. Как оказалось, больше всего ей хотелось того, чего хочется многим, — чтобы на нее хоть кто-нибудь обратил внимание.

Пять лет проработал Морри в «Приюте под каштанами». И хотя это не поощрялось, подружился с некоторыми пациентами, включая женщину, которая шутила, что ей очень повезло, раз у ее мужа хватило денег на лечение в этой больнице. Или с другой женщиной, которая плевала во всех подряд, а к Морри прониклась симпатией и называла его своим другом. Они каждый день вели беседы, и персонал был доволен, что хоть кто-то до нее достучался. Но однажды она сбежала, и Морри попросили помочь ее разыскать. Ее нашли в соседнем магазине, где она пряталась в кладовой. Увидев Морри, она бросила на него испепеляющий взгляд.

— Значит, ты тоже один из них?! — злобно выкрикнула она.

— Из кого «из них»? — спросил Морри.

— Из моих тюремщиков.

По наблюдениям Морри, большинство пациентов больницы были люди отвергнутые, лишенные внимания; люди, к которым относились так, будто они не существуют. Всем им не хватало сочувствия. А оно-то как раз у персонала больницы быстро иссякало. Многие пациенты были состоятельными людьми, из богатых семей, но деньги не принесли им ни счастья, ни удовлетворения жизнью. Это был для Морри незабываемый урок.

Я, бывало, дразнил Морри, что он застрял в шестидесятых. А он отвечал, что шестидесятые не были так уж плохи, особенно в сравнении с теперешними временами.

Поработав в психиатрии, Морри пришел в университет Брандейса перед самым началом шестидесятых. И за несколько лет университет превратился в очаг культурной революции. Наркотики, секс, проблемы расизма, протесты против войны во Вьетнаме. В университете Брандейса учились Эбби Хоффман и Джерри Рубин^[4], а также Анджела Дэвис^[5]. У Морри в группе было много «радикальных» студентов.

И это было отчасти потому, что преподаватели факультета социологии не только учили, но и участвовали. Например, они с жаром выступали против войны. Когда профессора узнали, что у студентов должен быть определенный средний балл, чтобы их не призвали в армию, они решили вообще не ставить оценок. А когда администрация сказала, что, если профессора не поставят оценок, все студенты провалятся, Морри нашел решение: «Давайте всем им поставим высший балл». Так они и сделали. Точно так, как преобразился университет, преобразился и факультет Морри, начиная с джинсов и сандалий, которые теперь в рабочее время носили преподаватели, и кончая аудиториями, полными дыхания жизни. Профессора стали предпочитать лекциям дискуссии, а теорию — опыту. Студентов посылали «в глубинку» южных штатов защищать гражданские права или на практику в бедные районы больших городов. Они отправлялись в Вашингтон на марши протеста, и Морри нередко вел автобус со своими студентами. В одной из таких поездок Морри с легким изумлением наблюдал, как женщины в развевающихся юбках вставили цветы в стволы винтовок, а потом уселись на лужайку и, взявшись за руки, силой духа пытались вознести на небеса Пентагон.

— Сдвинуть его им не удалось, — вспоминал потом Морри. — Но отчего ж не попробовать?

А однажды группа негритянских студентов университета Брандейса

захватила один из корпусов и водрузила на нем стяг с надписью: «Университет Малколма Икс^[6]». В этом корпусе были химические лаборатории, и администрация волновалась, что радикалы делают в его подвале бомбы. Но Морри-то знал, в чем действительно было дело. Он понимал: эти люди хотели, чтобы признали их значимость.

Бунт затянулся на недели. И мог бы продлиться еще дольше, если бы как-то раз Морри не проходил мимо корпуса и один из бунтовщиков не узнал своего любимого преподавателя и не закричал ему, чтобы он влез к ним через окно.

Часом позже Морри уже вылезал через окно со списком требований бунтарей. Он принес список президенту университета, и дело было улажено.

Морри всегда удавалось решать дела миром.

В университете Брандейса Морри преподавал социологию, социальную психологию, читал курс о психическом здоровье и психических болезнях, о поведении человека в группе. При этом он мало внимания уделял тому, что теперь называют навыками карьеры, всерьез сосредоточившись на развитии личности.

В наши дни студенты факультета юриспруденции или бизнеса наверняка сочли бы его занятия наивно-глупыми и бесполезными. Сколько денег заработают его студенты? Сколько крупных дел в суде выиграют?

Но в то же время кто из этих студентов-юристов и бизнесменов приходит навестить своего старого профессора после окончания колледжа? А студенты Морри приходили к нему то и дело. А в последние дни его жизни к нему приезжали сотни бывших студентов из Бостона, Нью-Йорка, Калифорнии, Лондона, Швейцарии; из крупных компаний и школ бедных районов. Они звонили, они писали. Они проезжали на машине сотни миль, только чтобы повидаться с ним, поговорить, увидеть его улыбку.

И каждый из них говорил: «У меня в жизни не было другого такого учителя».

Посещая Морри, я начал читать о смерти: о том, как представители различных культур смотрят на уход из жизни. Например, в арктическом районе Северной Америки есть племя, которое верит в то, что у всего на земле есть душа, и эта душа в миниатюре повторяет форму того, в чем она обретается. В олене есть крохотный олень, а в человеке — крохотный человек. И когда большее существо умирает, крохотное продолжает жить. Оно может переместиться во что-то рожденное поблизости или

отправиться во временный приют отдохновения на небеса в утробе Великого Женского Духа и ждать там, пока луна не отправит его назад на землю.

И порой у луны столько хлопот с новыми душами, что она исчезает с неба. Вот почему бывают безлунные ночи. Но в конце концов луна всегда возвращается, как и все мы.

Вот во что верит это племя.

Вторник седьмой. Мы говорим о страхе состариться

Морри проиграл этот бой. Он больше не мог сам вытирать свой зад.

И он принял это со свойственным ему мужеством. Как только он заметил, что не может больше дотянуться до собственного зада, известил об этом новом несчастье Конни.

— Вам будет очень неловко это делать за меня?

— Нет, — ответила она.

Это было так в духе Морри — в первую очередь спросить.

Морри признался, что ему это нелегко далось, ведь это значило, что он окончательно сдался болезни. Он лишился возможности делать самое простое и интимное: высмаркиваться, ходить в туалет, вытирать свое тело. За исключением дыхания и глотания еды, почти во всем остальном он зависел теперь от других.

Я спросил Морри, как же ему удастся сохранять присутствие духа.

— Смешно сказать, Митч, но я ведь независимый человек, и моим намерением было не смиряться со всем этим: с тем, что меня вынимали из машины или одевали. Мне было стыдно потому, что наша культура учит нас: надо стыдиться того, что тебе вытирают задницу. А потом я сообразил: «Забудь, чему учит культура. Ты игнорировал ее большую часть своей жизни, чего ж теперь стыдиться: ну что в этом такого ужасного?» И знаешь что? Случилось нечто странное.

— Что?

— Я начал получать удовольствие от своей зависимости. Я радуюсь, когда меня переворачивают на бок и протирают кремом мой зад, чтобы он не воспалялся. Или когда мне вытирают пот со лба, или массируют ноги. Я наслаждаюсь этим. Я закрываю глаза и впитываю в себя радость. И это такое знакомое чувство. Как будто ты снова ребенок. Тебя купают. Тебя поднимают. Тебя вытирают. Кто из нас не знает, что такое быть ребенком? Это внутри нас. Надо только припомнить, как этим наслаждаться. Суть в том, что, когда матери держали нас на руках, качали, гладили по голове, нам всегда хотелось еще и еще. Мы все в какой-то степени мечтаем вернуться к тем дням, когда о нас так заботились, когда нам уделяли внимание независимо ни от чего и любили нас ни за что — просто так. Большинство из нас этого недополучили, я по крайней мере.

Я взглянул на Морри и вдруг понял, почему ему так нравилось, когда я наклонялся к нему и поправлял на нем микрофон, или взбивал ему подушки, или вытирал глаза. Человеческое прикосновение. В свои семьдесят восемь лет он отдавал как взрослый, а брал как ребенок.

В тот же день, позднее, мы говорили о старении. Вернее, о страхе состариться — очередной пункт из списка того, что тревожит мое поколение. По пути из бостонского аэропорта я посчитал все рекламы, на которых красовались молодые красивые люди. Юный красавец в ковбойской шляпе, выкуривающий сигарету, две молодые красотки, с улыбкой склоняющиеся над бутылочкой шампуня, смазливая девица-подросток в незастегнутых джинсах: сексапильная женщина в черном бархатном платье рядом с мужчиной во фраке, оба потягивают шотландский виски.

И ни на одной рекламе не было того, кто мог бы сойти за человека старше тридцати пяти. Я сказал Морри, что, хоть и пытаюсь изо всех сил быть на высоте, Уже чувствую, что жизнь моя пошла на спад. Я постоянно занимаюсь физкультурой, не ем что попало и то и дело поглядываю в зеркало на свой пробор. И если раньше я с гордостью заявлял о своем возрасте — столько достигнуто в молодые годы, — то теперь вообще избегаю говорить о возрасте из страха, что приближаюсь к сорока, пределу профессиональной никчемности.

У Морри же был совсем иной взгляд на старение.

— Меня этим акцентом на молодость не возьмешь, — усмехался он. — Я знаю, до чего порой тягостно быть молодым, так что не говорите мне, как это здорово. Все эти ребята, что приходили ко мне, страдали от внутренних противоречий и раздоров, чувства неполноценности и безрадостности жизни, — страдали так, что хотели покончить с собой... И в дополнение ко всем этим несчастьям молодым не хватает мудрости. Они едва понимают жизнь. А кому хочется жить, если не понимаешь, что происходит вокруг? Тобой вертят как хотят: то велят тебе покупать эти духи, чтобы стать привлекательнее, то те джинсы, чтобы выглядеть сексапильнее, — и ты всему этому веришь. Муть какая-то.

— А вам *никогда* не было страшно постареть?

— Я встречаю старость с распростертыми объятиями.

— С распростертыми объятиями?

— Почему бы и нет? Чем старше ты делаешься, тем больше узнаешь. Если бы тебе всегда было двадцать два года, ты бы всю жизнь оставался таким же невежественным, как в двадцать два. Старение, как известно, это

не только увядание, но еще и рост. И это, конечно, ужасно, что тебе предстоит умереть, но хорошо, что ты это *понимаешь*, потому что благодаря этому пониманию можешь прожить жизнь лучше.

— Хорошо, — сказал я. — Но если в старении столько достоинств, почему тогда люди без конца твердят: «Если б я только был снова молодым». И никто не говорит: «Хорошо бы мне было шестьдесят пять».

Морри улыбнулся.

— Знаешь о чем это говорит? О неудовлетворенности жизнью. О жизни, лишенной смысла. Ведь, если жизнь твоя осмысленна, тебе не хочется идти назад. Тебе хочется идти вперед. Тебе хочется еще больше увидеть, еще больше сделать. Ты ждешь не дожدهшься, когда тебе стукнет шестьдесят пять. Послушай. Тебе надо это знать. Всем молодым надо это знать. Тот, кто борется со старостью, несчастлив, поскольку старость наступит, несмотря ни на что. И еще, Митч... — Морри понизил голос. — В конце концов, *ты* тоже умрешь. Это факт.

Я кивнул.

— Что бы ты себе ни говорил.

— Я знаю.

— Но к счастью, — добавил Морри, — это случится еще очень и очень нескоро.

Морри закрыл глаза — вид у него был умиротворенный — и попросил меня поправить у него под головой подушки. Ему нужно было то и дело менять положение. Тело его, уложенное в кресло, было обрамлено белыми подушками, желтым поролоном и синими полотенцами. Казалось, что профессор был упакован для почтовой отправки.

Я поправил ему подушки, и он прошептал:

— Спасибо.

— Не стоит благодарности, — ответил я.

— Митч, о чем ты сейчас думаешь?

Я помолчал, а потом сказал:

— Мне интересно, неужели вы не завидуете молодым, здоровым людям?

— Конечно, завидую. — Морри снова закрыл глаза. — Я завидую тому, что они могут пойти позаниматься в спортклубе или пойти поплавать. Или потанцевать. Особенно тому, что могут потанцевать. Но зависть приходит, я чувствую ее, а потом отпускаю восвояси. Помнишь, что я говорил тебе об отстранении? Отпусти ее. Скажи себе: «Это зависть, и теперь я от нее отделяюсь». И уходи от нее.

Морри закашлялся — долгим, раздирающим кашлем, прижал салфетку

ко рту и выплюнул мокроту. Сидя рядом с ним, я чувствовал себя намного сильнее, чем он — до нелепости сильнее. Я чувствовал, что мог бы с легкостью подхватить его и перекинуть через плечо, как перекинул бы мешок с мукой. И мне стыдно стало своего физического превосходства, потому что во всем прочем я никакого превосходства отнюдь не ощущал.

— А как вам удастся не завидовать...

— Кому?

— Мне.

Морри улыбнулся:

— Митч, ну как могут старики не завидовать молодым? Суть лишь в том, чтобы признать себя таким, какой ты есть, и радоваться этому. Сейчас твое время быть тридцатилетним. А когда-то я был тридцатилетним, но сейчас мое время быть семидесятивосьмилетним. Просто надо найти то, что истинно и хорошо в твоей теперешней жизни. Оглядываясь назад, ты видишь, чем был силен. А возраст не преимущество.

Морри выдохнул и опустил глаза, точно следил за тем, как рассеивается выдыхаемый им воздух.

— По правде говоря, во мне есть все возрасты. Я и трехлетний, и пятилетний, и тридцатисемилетний, и пятидесятилетний. Я прошел через них всех и знаю, что это такое. Для меня радость быть ребенком, когда к месту быть ребенком. И радостно быть мудрым стариком, когда надо быть мудрым стариком. Ты только представь: я могу быть кем угодно! Человеком любого возраста, включая мой собственный. Ты понимаешь, о чем я говорю?

Я кивнул.

— Так как же я могу завидовать тому, каков ты сейчас, если я уже это пережил?

Вторник восьмой. Мы говорим о деньгах

*Судьба подчиняется многим,
Один — уступает ей сам.*

У. Х. Оден, любимый поэт Морри

Я держу газету так, чтобы Морри мог прочесть ее:

Я НЕ ХОЧУ, ЧТОБЫ НА МОЕЙ МОГИЛЕ БЫЛО
НАПИСАНО:
«Я НИКОГДА НЕ ВЛАДЕЛ СЕТЬЮ ТЕЛЕКОМПАНИЙ».

Морри смеется и качает головой. Утреннее солнце струится из окна, что позади него, и лучи его ложатся на подоконник, на розовые цветы гибискуса. Фраза принадлежала Теду Тернеру, миллиардеру, магнату, основателю телекомпании Си-эн-эн, скорбевшему о том, что ему не удалось захватить еще и компанию Си-би-эс. Я принес эту статью сегодня Морри потому, что мне стало интересно: а если бы Тернер оказался в положении старика-профессора — тело окаменевают, дыхание на исходе и жить остается считанные дни, — неужто он и тогда стал бы так убиваться из-за телекомпании?

— Это часть все той же проблемы, Митч, — сказал Морри. — Мы ценим не то, что следует ценить. И оттого мы живем иллюзиями. Я думаю, об этом стоит поговорить.

Морри сосредоточился. У него бывали хорошие дни и плохие. Сегодня выдался хороший. Накануне вечером к нему домой пришла группа музыкантов развлечь его и пела ему а капелла, и сейчас он возбужденно рассказывал мне об этом. Морри и до болезни любил музыку, а теперь просто обожал ее, она трогала его до слез. Порой по вечерам он сидел, закрыв глаза, и слушал оперу. И вместе с чудными голосами парил в небесах.

— Ты бы, Митч, послушал группу, что пела прошлой ночью. Какое звучание!

Морри всегда радовался пению, смеху, танцам. Теперь еще меньше, чем прежде, его интересовали материальные ценности. Люди на пороге смерти нередко говорят: «С собой в могилу богатство не унесешь». Морри,

похоже, знал об этом намного раньше.

— У нас в стране промывание мозгов идет полным ходом, — вздохнул Морри. — Знаешь, как это делается? Тебе талдычат одно и то же сто раз подряд. Вот так это у нас и происходит. Иметь вещи — хорошо. Больше денег — хорошо. Больше собственности хорошо. *Больше — это хорошо. Больше — это хорошо.* Мы твердим это и нам твердят это до тех пор, пока никто уже и думать не может по-другому. Простой человек совершенно этим одурманен, он и понять уже не может, что на самом деле в жизни важно. Где бы я ни жил, везде встречал людей, которым только бы захватить что-нибудь новое. Захватить новую машину. Захватить новую квартиру или дом. Захватить новейшую игрушку. А потом они жаждут тебе об этом рассказать: «Угадай, что я достал! Угадай, что я достал!» И знаешь, чем я это объясняю? Эти люди жаждут любви, а довольствуются суррогатом. Они с распростертыми объятиями кидаются к материальным ценностям и ждут чего-то подобного от них. А трюк не срабатывает. Нельзя материальными ценностями подменить любовь, нежность или чувство товарищества. Нежность не подменить деньгами и не подменить властью. Вот я сижу здесь, человек, который вот-вот умрет, и говорю тебе: в самую трудную минуту жизни ни власть, ни деньги, сколько бы у тебя их ни было, не дадут того, что тебе больше всего нужно.

Я обвел взглядом кабинет Морри. Он выглядел точно так же, как в день моего первого визита. Книги — все на тех же полках, бумаги горой — на старом письменном столе. И в других комнатах тоже никаких перемен к лучшему. За исключением медицинских приспособлений, Морри давно ничего не покупал. В тот день, когда узнал, что смертельно болен, он потерял всякий интерес к покупкам.

Телевизор был все той же старой модели, у Шарлотт была все та же старая машина. Посуда, полотенца были те же, что и прежде. И тем не менее дом переменялся необычайно. Он наполнился любовью, знанием. Он наполнился друзьями и родными, откровенными разговорами и слезами. Он наполнился коллегами и студентами, учителями медитации и психотерапевтами, медсестрами и певцами. Этот дом стал в полном смысле этого слова богатым, несмотря на то что деньги на банковском счету Морри таяли с молниеносной быстротой.

— В нашей стране люди без конца путают два понятия: *хотеть* и *нуждаться*, — продолжал Морри. — Еда тебе *нужна*, а шоколадное мороженое ты *хочешь*. И надо в этом честно себе признаться. Тебе *не нужна* спортивная машина последней модели и тебе *не нужен* большой дом. И по правде говоря, все это не приносит удовлетворения. А знаешь,

что приносит его?

— Что?

— Возможность отдавать другим то, что можешь отдать.

— Ну, это прямо как у бойскаутов.

— Я не имею в виду деньги, Митч. Я имею в виду время. Заботу. Беседу. И это не так трудно. Тут рядом открыли центр для стариков. И десятки стариков приходят туда каждый день. И тех, кто молод и имеет какие-то навыки, просят прийти и привить эти навыки старикам. Положим, ты разбираешься в компьютерах — приди и научи их пользоваться компьютером. Они будут тебе очень рады и благодарны, и ты почувствуешь к себе уважение. И таких мест полным-полно. И не нужно иметь особых талантов. Одинокие люди есть и в больницах, и в приютах, и единственное, чего они хотят, — это общения. В тебе есть потребность — поиграй в карты с одиноким стариком, и тебе самому будет приятно. Помнишь, что я сказал тебе об осмысленной жизни? Я записал это, но могу повторить по памяти. Посвяти себя любви, посвяти себя людям, которые рядом, и посвяти себя созданию того, что для тебя имеет смысл и значение. Ты заметил, — сказал Морри, улыбнувшись, — я ни словом не упомянул о зарплате.

Я принялся записывать в блокнот кое-что из слов Морри. И делал это в основном потому, что не хотел, чтобы он видел выражение моего лица и догадался, о чем я думаю. Ведь после окончания университета я почти все время гонялся именно за тем, против чего выступал Морри, — за дорогими «игрушками», домом красивее предыдущего. И поскольку работал среди знаменитых и богатых спортсменов, я убедил себя, что нужды эти реальные и моя жадность совершенно ничтожна по сравнению с их.

Но Морри мановением руки смахнул этот фиговый листок.

— Если ты, Митч, пытаешься выпендриваться перед теми, кто наверху, зря стараешься. Они все равно будут смотреть на тебя свысока. А если ты пытаешься выпендриваться перед теми, кто внизу, опять же зря стараешься. Они будут тебе завидовать, только и всего. Положение ничего не меняет. Только сердечность делает человека равным любому другому.

Морри задумался и снова посмотрел на меня:

— Вот я умираю, да?

— Да.

— А как ты думаешь, почему для меня так важно выслушивать других людей? Что, мне не хватает своей боли и своего страдания? Конечно, хватает. Но когда я отдаю что-то другим, я чувствую, что живу. Но отдаю не машину или дом. И не свое отражение в зеркале. Я отдаю свое время, и когда я вижу, что тот, кто еще минуту назад грустил, улыбается, я чувствую

себя почти здоровым. Делай то, что подсказывает тебе сердце. И тогда не будешь чувствовать неудовлетворения, зависти, тебе не будет хотеться того, что есть у других. Наоборот, ты будешь ошеломлен тем, что получишь от них в ответ.

Морри закашлялся и потянулся за колокольчиком, лежавшим у него на кресле. Он никак не мог ухватить его, и я, не выдержав, вложил его Морри прямо в руку.

— Спасибо, — прошептал он. Он тихонько позвонил, пытаясь привлечь внимание Конни. — Этот парень, Тед Тернер, неужто он не мог придумать чего-нибудь получше для своего надгробья?

Вторник девятый. Мы говорим о том, что любовь продолжается

*Каждый вечер, когда ложусь
спать, я умираю.
А каждое утро, когда встаю,
я рождаюсь заново.*

Махатма Ганди

Листва уже меняла цвет, и поездка по Западному Ньютоу окрашивалась теперь золотом и ржавчиной. Дома, в Детройте, сражения профсоюзов с администрацией застопорились, и при этом каждая сторона обвиняла другую в неспособности найти общий язык. Новости по телевидению были не менее гнетущие. В Кентукки, в сельской местности, трое мужчин разломали надгробный камень и бросались его кусками с моста, разнесли вдребезги ветровое стекло машины и убили девочку-подростка, совершавшую с семьей религиозное паломничество. А в Калифорнии суд над О. Дж. Симпсоном двигался к завершению, и вся страна замороженно за ним следила. Даже в аэропортах работали телевизоры, настроенные на Си-эн-эн, чтобы, двигаясь по аэропорту к самолету, каждый мог быть в курсе последних новостей процесса.

Я несколько раз звонил брату в Испанию, оставляя сообщения на автоответчике, объяснял ему, что очень хочу с ним поговорить, что много думал о нас обоих. Несколько недель спустя я получил от брата краткое сообщение, что у него все в порядке, но ему не хочется говорить о болезни.

А моего старика-профессора не разговоры о болезни, а сама болезнь все быстрее и быстрее тянула ко дну. После того как мы с ним последний раз виделись, ему уже поставили катетер, который вытягивал из него мочу, и она по трубочке спускалась в пластмассовый мешок, установленный внизу возле его кресла. За его ногами приходилось постоянно следить — хотя двигать ими он уже не мог, боль в них по-прежнему ощущалась (очередная жестокая шутка болезни Лу Герига). И если ноги Морри не болтались на определенном расстоянии от пенопластового коврика на полу, ему казалось, будто кто-то тычет в них вилкой. Посреди беседы Морри мог попросить посетителя приподнять ему ногу иди повернуть его голову на

подушках так, чтобы ему стало немного поудобнее. Немыслимо представить, что ты не можешь сам повернуть голову!

С каждым новым посещением мне казалось, что Морри потихоньку тает в своем кресле и что его позвоночник постепенно принимает форму этого самого кресла. И тем не менее каждое утро Морри настаивал на том, чтобы его вынимали из постели и везли в кабинет, где его водворяли среди книг, бумаг и цветшего на подоконнике гибискуса. У Морри было на то философское объяснение — в свойственной ему манере.

— У меня уже есть об этом афоризм, — заявил он.

— И как же он звучит?

— Коль с кровати ты не встал, это значит — дуба дал.

И Морри улыбнулся. Только Морри в его положении мог улыбаться таким шуткам.

Морри уже не раз звонили ребята из «Найтлайн» и сам Тед Коппел.

— Хотят прийти и снять еще одно шоу со мной. Но сказали, что хотят немного с этим подождать.

— Подождать чего? Последнего дыхания?

— Кто его знает. Как бы то ни было, последнего дыхания долго ждать не придется.

— Не надо так говорить.

— Прости.

— Меня тревожит, что они выжидают, когда вам станет совсем худо.

— Тебя это тревожит потому, что ты за меня волнуешься. — Морри улыбнулся. — Возможно, они используют меня, чтобы разыграть перед зрителями небольшую драму. Ну и пусть. Я ведь их тоже использовал. Они помогли донести мои мысли до миллионов людей. Разве мне самому это было под силу? Так что приходится идти на компромисс.

Морри закашлялся. И кашель этот перешел в затяжной и хриплый и закончился очередным отхаркиванием мокроты.

— Как бы то ни было, — продолжал Морри, — я сказал, чтоб они с этим слишком не затягивали, потому что я теряю голос. Как только эта штукавина доберется до моих легких, я уже вряд ли смогу говорить. Я и теперь не могу говорить подолгу. Многие визиты пришлось отменить, а столько людей хочет меня повидать. Но я слишком слаб, и если не в силах буду уделить им должного внимания, то не смогу им помочь.

Я вдруг почувствовал себя виноватым, точно я крал у других его ценное «разговорное» время.

— Может быть, достаточно? — спросил я. — Вы ведь очень устанете.

Морри закрыл глаза и замотал головой. Похоже, он выжидал, пока

стихнет боль.

— Нет, — произнес он наконец. — Мы должны продолжать. Нашу последнюю курсовую. Мы ведь хотим, чтобы она была в лучшем виде.

Я вспомнил нашу первую совместную курсовую в колледже. Идея ее, конечно, принадлежала Морри. Он сказал мне, что с моими способностями я могу написать работу повышенной сложности, что мне самому даже в голову не приходило.

И вот теперь мы снова работаем вместе. И как *прежде, все* началось с идеи. Человек умирающий рассказывает другому о том, что ему важно знать. Но на этот раз я совсем не торопился эту курсовую закончить.

— Вчера мне задали забавный вопрос, — сказал Морри, разглядывая висевший у меня за спиной коллаж, сотканный из дружеских пожеланий к его семидесятилетию. На каждом лоскутке коллажа было чье-то послание: **МОРРИ, ТАК ДЕРЖАТЬ! ВСЕ ЛУЧШЕЕ ЕЩЕ ВПЕРЕДИ! ЛУЧШИЙ ИЗ ЛУЧШИХ В СВОЕЙ ПРОФЕССИИ!**

— Так что это был за вопрос? — спросил я.

— Беспокоит ли меня тот факт, что меня забудут после смерти.

— И что же?

— А я не думаю, что меня забудут. Вокруг столько людей, с которыми я необычайно близок. А если тебя любят, жизнь твоя продолжается и после смерти.

— Звучит, как слова лирической песни: «Любовь продолжается после смерти...»

Морри засмеялся:

— Может быть. Но подумай о том, чем мы с тобой занимаемся. Неужели, вернувшись домой, ты никогда не вспоминаешь обо мне? Когда ты один? Когда летишь на самолете? Или едешь в машине?

— Вспоминаю, — признался я.

— Значит, когда меня уже не будет, ты меня не забудешь. Вспомнишь мой голос, и я явлюсь.

— Вспомню ваш голос...

— И если тебе захочется поплакать, это тоже ничего.

Ох уж этот Морри. Еще в те времена, когда я был первокурсником, ему хотелось, чтобы я заплакал. Он, бывало, говорил мне: «Рано или поздно я тебя пройму».

— Ну-ну, — отвечал я.

— А я решил, какую хочу надпись на своем надгробье.

— Не желаю я слышать про надгробья.

— А что такое? Тебе от этого не по себе?
Я пожал плечами.
— Что ж, не будем об этом, — уступил Морри.
— Нет уж, давайте. Так что вы придумали?
Морри сложил губы трубочкой.
— Как насчет такого: «Учитель до последнего мгновения»?
Морри подождал, пока я переварю услышанное.
«Учитель до последнего мгновения».
— Хорошо? — спросил Морри.
— Очень хорошо, — согласился я.

* * *

Мне необычайно нравилось, когда лицо Морри начинало светиться. Это происходило, когда я входил в комнату. Я знал, что было немало людей, при чьем появлении его лицо начинало светиться. И все же Морри умел сделать так, что каждый из нас думал: «Это случается, только когда прихожу я».

«А-а-а, мой друг пришел!» — говорил Морри своим высоким хрипловатым голосом, увидев меня. И это не кончалось приветствием. Когда Морри был с вами, он действительно *был* с вами. Он смотрел тебе прямо в глаза и слушал так, будто ты единственный человек в этом мире. Насколько легче жилось бы людям, если бы их день начинался со встречи с таким вот человеком, а не ворчащим водителем автобуса или недовольным шефом.

— Я верю в полное присутствие, — заговорил Морри. — А это значит, что если ты с кем-то рядом, то ты с ним целиком и полностью. Когда я с тобой, я стараюсь сосредоточиться на том, что происходит между нами. Я не думаю о том, о чем мы говорили на прошлой неделе, или о том, что мне предстоит в эту пятницу. Я не думаю о новом шоу Коппела или о своих лекарствах.

«Я говорю с тобой — я думаю о тебе».

Я помню, как во времена моей учебы в университете Брандейса Морри пытался внушить нам эту мысль. Но я тогда отнесся к ней несерьезно: тоже мне — тема для занятий! Относиться к людям с вниманием? Ну и что в этом такого важного? Теперь-то я знаю, что это, может быть, важнее почти всего, чему нас научили в университете.

Морри жестом попросил меня дать ему руку, и, когда он взял ее в

свою, я почувствовал себя виноватым. Передо мной сидел человек, чье дыхание угасало и в чьем теле едва теплилась жизнь, — человек, который, если бы захотел, мог весь день только и делать, что жалеть себя. А в то же время многие другие — и я в том числе, — чьи проблемы не шли ни в какое сравнение с его проблемами, были полностью поглощены собой. Ты не поговорил с человеком и минуты, а уже по глазам видишь, что мысли его больше не с тобой. У него уже что-то свое на уме: срочно позвонить приятелю, послать кому-то факс, увидаться с любовницей... И лишь когда ты закончил говорить, он снова возвращается к тебе: произносит ничего не значащую фразу, пытаюсь изобразить, что внимательно тебя слушал.

— Проблема частично в том, — сказал Морри, — что все жутко спешат. Люди не находят смысла в своей жизни и потому повсюду за ним гоняются. Они думают, что смысл в новой работе, или в новом доме, или в новой машине. А когда обнаруживают, что и во всем этом смысла нет, бегут дальше.

— Стоит включиться в эту гонку, — заметил я, — и остановиться очень трудно.

— Не так уж и трудно, — качает головой Морри. — Знаешь, например, что я делаю, когда кто-то пытается меня обогнать на дороге... делал, когда я еще мог *водить* машину? Я поднимал руку...

Морри попытался поднять руку, но она едва сдвинулась с места.

— ...как будто собирался пристыдить его, но вместо неприличного жеста пальцем дружелюбно махал ему и улыбался. И знаешь, что происходило? Почти каждый улыбался мне в ответ. Суть в том, что, когда еду, я не так уж безумно спешу. Так почему бы не вложить свою энергию в тех, кто рядом?

И Морри это удавалось лучше, чем кому бы то ни было. Если ему рассказывали о чем-то ужасном, глаза его увлажнялись, а стоило преподнести ему даже самую дурацкую шутку, они лучились от удовольствия. Он никогда не стеснялся эмоций в отличие от людей моего поколения. Мы — мастера пустой беседы. «Так чем вы занимаетесь? Где живете?» Но разве мы *действительно* слушаем собеседников? Мы слушаем их, только когда нам надо что-то им всучить, или куда-то их завербовать, или от них зависит наше положение. Но как часто мы их слушаем просто так? Мне кажется, многие из тех, кто приходил в последние месяцы навестить Морри, делали это не потому, что хотели оказать внимание ему, а потому, что он *им* оказывал внимание. Несмотря на боль и покидавшие его силы, этот хрупкий старик слушал их так, как им всегда хотелось, чтобы их слушали.

— Каждому человеку хотелось бы иметь такого отца, как вы, — сказал я Морри.

— Что ж, — отозвался он, — у меня в этой области есть кое-какой опыт...

Своего собственного отца Морри последний раз видел в городском морге. Чарли Шварц был тихий человек, любивший читать газету в одиночестве при свете уличных фонарей на Тремонт-авеню в Бронксе. Когда Морри был ребенком, Чарли каждый вечер после ужина уходил погулять. Этот человек из России был невысокого роста, с румяным лицом и кривой седеющих волос. Морри и его брат, бывало, выглядывали из окна и видели, как отец стоял, прислонившись к фонарному столбу. Морри страшно хотелось, чтобы он вернулся в дом и поговорил с ними, но такого не случалось. И никогда он их не укладывал спать, и никогда не целовал перед сном.

Морри поклялся себе, что, если только у него будут дети, он будет все это делать для них. И он сдержал обещание.

Морри уже растил своих собственных детей, а Чарли по-прежнему жил в Бронксе. И по-прежнему гулял по вечерам. И по-прежнему читал газету. Как-то вечером он пошел погулять и совсем неподалеку от дома к нему подошли двое грабителей: «Давай гони деньги!» — крикнул один из них, вытаскивая пистолет.

Чарли в испуге бросил им бумажник и пустился бежать. Он неслся по улицам, пока не добежал до дома своего родственника. На ступенях его дома он свалился без сил.

Разрыв сердца. Он умер той же ночью.

Морри позвонили, чтобы он приехал опознать тело. Он прилетел в Нью-Йорк и отправился в морг, где его провели в подвал, в холодную покойницкую.

— Это твой отец? — просил его служащий морга.

Морри посмотрел на тело за стеклом, — на тело человека, который муштровал его, и бранил, и молчал, когда Морри так хотелось, чтобы он с ним поговорил; человека, который учил его работать и не позволял вспоминать о матери, когда ему так хотелось хоть с кем-нибудь поделиться своими воспоминаниями о ней.

Морри кивнул и поплелся прочь. Эта комната навеяла на него такой ужас, что для других чувств не осталось места. Лишь через несколько дней он впервые заплакал.

И все же смерть отца помогла Морри подготовиться к его собственной.

Одно он знал твердо: будет много объятий, и поцелуев, и разговоров, и смеха, и не останется несказанных «прощай»; будет все, чего ему так не хватало с отцом и матерью.

И когда придет его последняя минута, все любимые им люди будут с ним, понимая, что происходит. Никому из них не придется звонить или посылать телеграмму и никому из них не придется на него смотреть сквозь стекло в холодном неприятном подвале.

В тропических лесах Южной Америки есть племя дисана, которое считает: мир наполнен определенным количеством энергии, что витает меж всеми живыми существами. И потому каждое рождение влечет за собой смерть, а каждая смерть — новое рождение. Таким образом, энергия мира остается постоянной.

Когда люди племени дисана охотятся, они думают, что гибель каждого зверя пробивает брешь в источнике жизни. Но они также верят, что брешь эта исчезает всякий раз, когда умирают охотники. Не умирали бы люди, не рождались бы птицы и рыбы. Мне такая мысль понравилась. И Морри тоже. Чем ближе он к последнему «прощай», тем больше верит, что все мы существа единого мира. Все, что берем, мы должны возместить.

— Это только справедливо, — говорит он.

Вторник десятый. Мы говорим о супружеской жизни

Я привел к Морри посетителя. Свою жену.

С первого моего прихода Морри не переставал спрашивать: «Когда я познакомлюсь с Жанин? Когда ты ее привезешь?» А я всегда находил отговорки. Но вот несколько дней назад я позвонил узнать, как у него дела. Трубку профессор поднял не сразу, а когда взял, я услышал посторонний шум, как будто кто-то держал трубку за него. Морри уже не мог ее держать. В трубке слышались нечленораздельные звуки.

— Тренер, вы в порядке?

Я услышал, как он выдохнул:

— Митч... у твоего тренера... не очень хороший день...

Ночами ему теперь было все хуже и хуже. Почти каждую ночь нужен был кислород, а приступы кашля стали устрашающими. Приступ мог длиться час, и непонятно было, кончится ли он вообще. Морри когда-то сказал, что стоит болезни достичь легких — и ему конец. У меня дрожь прошла по телу, когда я подумал о том, как близок он теперь к смерти.

— Увидимся во вторник, — сказал я. — Во вторник дела будут получше.

— Митч...

— Да?

— Твоя жена рядом?

Жанин сидела рядом со мной.

— Дай ей трубку. Я хочу услышать ее голос.

По счастью, я женат на женщине намного добрее меня. И хотя Жанин в жизни не видела Морри, она взяла трубку — я бы, наверное, стал мотать головой и шептать: «Меня нет дома, меня нет дома», — и через минуту уже говорила с моим стариком-профессором так, словно они были всю жизнь знакомы. Я чувствовал это нутром, хотя все, что я слышал, было: «Угу... Да, Митч говорил мне... О, спасибо».

Жанин повесила трубку и заявила:

— В следующий раз я еду с тобой.

Только и всего.

И вот теперь мы сидим у Морри в кабинете по обе стороны его кресла. Морри, по его собственному признанию, не чужд безобидного флирта, и,

хотя на него то и дело нападает кашель, присутствие Жанин, похоже, придает ему сил. Он рассматривает наши свадебные фотографии, которые принесла моя жена.

— Вы из Детройта? — спрашивает Морри.

— Да, — отвечает Жанин.

— Я преподавал в Детройте, один год, в конце сороковых. И даже помню одну смешную историю...

Он замолчал, чтобы высморкаться. Я увидел, как Морри беспомощно теребит бумажный носовой платок, и забрал его, чтобы помочь ему. Морри попытался высморкаться, но безуспешно. И тогда я легонько сжал платком его ноздри, точь-в-точь как матери маленьким детям.

— Спасибо, Митч. — Морри взглянул на Жанин. — Мой помощник, и еще какой.

Жанин молча улыбнулась.

— Так вот, моя история. У нас в университете была компания социологов, мы собирались и играли в покер с другими преподавателями, и в том числе с одним парнем-хирургом. Однажды вечером после игры он мне и говорит: «Морри, я хочу прийти посмотреть, как ты преподаешь». Я отвечаю: «Ладно». И он пришел на одно из моих занятий и наблюдал за мной. А когда урок кончился, он спрашивает: «А хочешь прийти посмотреть, как я работаю? Сегодня вечером я как раз оперирую». Я решил сделать ему приятное и согласился. Привел он меня в больницу и сказал: «Помой руки, а потом надень халат и маску». Не успел я опомниться, как уже стоял рядом с ним у операционного стола. А на столе — женщина пациентка, вся голая. Хирург взял ножичек и как по ней полоснет! Да... — Морри поднял палец и покрутил им в воздухе. — И у меня точно так же все завертелось. Повсюду кровь. Уф! Чувствую, падаю в обморок. А сестра рядом со мной спрашивает: «Доктор, что это с вами?» А я ей: «Какой я к черту доктор? *Унесите меня отсюда*».

Мы рассмеялись, и Морри тоже, насколько ему позволяло дыхание. За последние недели он впервые рассказывал что-то забавное. «Как странно, — подумал я. — Он чуть в обморок не упал, наблюдая за операцией, а свою болезнь переносит с таким мужеством».

В дверь постучала Конни и сказала, что обед для Морри готов. Это не был морковный суп, или овощные пирожки, или макароны по-гречески, которые я принес сегодня утром. И хотя я старался выбрать в магазине самую что ни на есть мягкую еду, даже ее Морри было уже не под силу прожевать и проглотить. Он теперь ел только жидкие питательные смеси и еще, может быть, размоченный в них, превращенный в кашицу кекс.

Шарлотт теперь все для него перемалывала в миксере, и он втягивал это через соломинку. А я по-прежнему покупал еду в магазине и входил к нему с пакетами в руках, но теперь делал это уже исключительно потому, что хотел порадовать его своим постоянством. Я открывал холодильник и видел, что он забит коробочками с едой. Похоже, я все еще надеялся, что в один прекрасный день мы с Морри снова будем вместе есть обычный обед, и, как прежде, он будет говорить и жевать одновременно, не замечая, что кусочки еды выпадают из его рта. Глупейшая надежда.

— Да... Жанин, начал Морри. Жанин улыбнулась. — Вы очень славная. Дайте мне руку.

Жанин протянула ему руку.

— Митч мне рассказывал, что вы профессиональная певица.

— Да, — подтвердила Жанин.

— Он говорит, что вы замечательно поете.

— Нет, — засмеялась она, — он так только говорит.

Брови Морри изумленно поползли вверх.

— А можете что-нибудь спеть для меня?

Сколько мы с Жанин знакомы, столько я слышу от людей эту просьбу. Стоит им услышать, что пение — ее профессия, как тут же они просят: «А вы не могли бы что-нибудь спеть для нас?» Будучи застенчивой и в то же время очень придиричивой к месту, где нужно выступать, Жанин никогда не соглашалась. Она вежливо всегда и всем отказывала. И, пребывая в полной уверенности, что прозвучит привычный отказ, я вдруг услышал... как она запела:

Стоит лишь подумать о тебе,
И немедля забываю я
Обо всем, что надлежит мне помнить...

Это была песня Рэя Нобла, популярная в тридцатые годы, и Жанин пропела ее с необыкновенной нежностью, глядя прямо в глаза Морри. Уже в какой раз меня поразило, что при нем даже самые замкнутые люди не стесняются выражать чувства. Морри слушал с закрытыми глазами, впитывая ноту за нотой. И с каждым новым звуком, наполнявшим комнату, улыбка его все более и более походила на неудержимое крещендо. И хотя тело его было совершенно недвижимо, не оставалось никаких сомнений: в душе он с упоением танцует.

Когда Жанин закончила петь, Морри открыл глаза. По щекам его

катились слезы. За все эти годы я не раз слышал, как поет моя жена, но мне ни разу не удалось услышать ее так, как услышал Морри.

Супружеская жизнь. Почти у всех моих знакомых с ней проблема. Одни никак не могут жениться, другие никак не могут развестись. Нашему поколению супружество, похоже, дается нелегко: мы сражаемся с ним, точно с аллигатором из мутного болота. Сколько раз я уже бывал на свадьбах, поздравлял молодых, а потом, несколько лет спустя, лишь с легким удивлением встречал «жениха» в ресторане с молодой женщиной, которую он мне представлял как свою приятельницу, добавляя: «Мы ведь с женой разошлись...»

Я спросил Морри, почему у нас не ладится супружеская жизнь. Семь лет я не решался жениться. Отчего? Оттого, что люди моего поколения стали осторожнее, наблюдая за теми, кто женился рано? Или мы просто эгоисты?

— Я жалею ваше поколение, — сказал Морри. — Очень важно найти любящего человека, потому что в жизни так не хватает любви. Но современная молодежь слишком эгоистична, чтобы любить, или же она бездумно бросается в супружество, а через полгода уже разводится. Многие и понятия не имеют, какой человек им нужен в партнеры. Да и откуда им это знать, когда они и себя-то толком не знают?

Морри вздохнул. Сколько раз к нему приходили за советом потерпевшие крах в любви.

— Это очень грустно, потому что каждому надо иметь рядом любящего человека. И понимаешь это особенно ясно в такие времена, которые переживаю сейчас я, — когда дела не слишком-то хороши. Друзья — это, конечно, здорово, но будут ли они сидеть с тобой ночи напролет, утешая и заботясь о тебе, когда ты беспрестанно кашляешь и не в силах уснуть?

Шарлотт и Морри познакомились еще студентами и были женаты сорок четыре года. Теперь я часто наблюдал за Шарлотт: как она напоминала Морри про лекарство, или подходила к нему и нежно гладила его шею, или говорила о сыновьях. Слаженная команда. Подчас им достаточно было взгляда, чтобы понять, кто о чем думает. Шарлотт в отличие от Морри была очень сдержанной, и он относился к этому с необычайным уважением. Бывало, в нашей беседе он вдруг говорил: «Шарлотт может быть неприятно, если я расскажу об этом», — и тут же прекращал разговор. И ЭТО были единственные минуты, когда Морри воздерживался от откровенности.

— Одно я точно знаю о супружестве, — продолжал Морри. — Супружество — это проверка за проверкой. Ты постепенно узнаешь, кто ты есть и кто твой партнер, и можете ли вы друг к другу приспособиться.

— А есть ли какие-нибудь правила или признаки, по которым заранее можно понять, сложится твоя супружеская жизнь или нет?

— Если б это было так просто, — улыбнулся Морри.

— Я знаю, что непросто.

— И все же, — сказал Морри, — по моим наблюдениям, в любви и супружестве есть некие правила. Если ты не уважаешь своего партнера, дела твои плохи. Если не умеешь идти на компромисс, дела твои плохи. Если не умеешь откровенно говорить о том, что происходит между вами, дела твои плохи. И если у вас разные взгляды на жизнь, дела ваши плохи. У вас должны быть одни и те же ценности. И знаешь, Митч, какая самая главная из этих ценностей?

— Какая?

— Вера в значимость супружеской жизни.

Морри усмехнулся и прикрыл на мгновение глаза.

— Лично я, — вздохнул он — считаю, что супружество — штука очень стоящая, и, если не испытаешь, что это такое, многое потеряешь.

А под конец Морри процитировал строчку одного стихотворения, которое для него звучало молитвой: «Любите друг друга — иль погибните вы».

— А вот у меня есть вопрос, — говорю я.

Морри костлявыми пальцами прижимает очки к груди, которая вздымается и опадает с каждым нелегким вдохом и выдохом.

— Какой такой вопрос?

— Помните Книгу Иова?

— Ту, что в Библии?

— Да. Иов — хороший человек, но Бог посылает ему страдания. Чтобы испытать его веру.

— Помню.

— Отбирает у него все: дом, богатство, семью...

— Здоровье.

— Да, напускает на него болезнь.

— Чтобы испытать его веру.

— Правильно, чтобы испытать его веру. Так вот, мне интересно...

— Что интересно?

— Что вы об этом думаете?

Морри тяжело кашляет. Руки его дрожат и плетями падают вдоль тела.

— Я думаю, — говорит Морри улыбаясь, — что Бог немного перестарался.

Вторник одиннадцатый. Мы говорим о нашей культуре

— Стукни его сильнее.

Я стучу Морри по спине.

— Сильнее.

Я ударяю снова.

— Меж лопаток... а теперь пониже.

Морри в пижамных брюках лежит в кровати на боку, прижавшись головой к подушке, с открытым ртом. Физиотерапевт показывает мне, как выбивать яд из его легких, чтобы он там не скапливался и Морри мог дышать.

— Я... всегда знал... что тебе хотелось... меня стукнуть, — выдохнул Морри.

— Точно, — рассмеялся я, колошматя по его бледнокожей спине. — Вот вам за ту четверку на втором курсе! Бац!

Мы рассмеялись нервным смехом — так смеются дьявольским шуткам. Это была бы очень милая сценка, если б мы не знали, что за всем этим стоит. Болезнь Морри подбиралась к последнему бастиону — легким. Он предвидел, что умрет от удушья, и мне трудно было представить конец страшнее этого. То и дело Морри закрывал глаза и пытался втянуть в себя воздух через рот и ноздри, и это напоминало вытягивание якоря со дна морского.

Был ранний октябрь, на дворе стало чуть прохладнее, и весь Западный Ньютон обсыпало охапками листьев. Физиотерапевт и медсестра приходили обычно утром, и я старался в это время отлучиться. Но неделя шла за неделей, время было на исходе, и меня все меньше и меньше стало смущать то, что смущало прежде. Я хотел быть там. Все видеть. И это было совсем не в моей натуре, как, впрочем, и многое другое, что происходило со мной за последние недели в доме Морри.

Так вот, я наблюдал, как физиотерапевт возилась с лежавшим в постели профессором: стучала по его спине и спрашивала, становится ли ему легче дышать. А во время перерыва она обратилась ко мне — не хочу ли я тоже попробовать. Я согласился и увидел, как Морри мне улыбнулся с подушки.

— Не слишком усердствуй, — предупредил он. — Я все-таки старик.

Я принялся стучать по его спине и бокам, поворачивая тело так, как учила физиотерапевт. Одна мысль о том, что Морри будет теперь прикован к постели, была мне невыносима. В ушах так и звенел его афоризм: «Коль с кровати ты не встал, это значит — дуба дал». Повернутый на бок, Морри казался таким маленьким и хрупким, словно это был не мужчина, а мальчик. Бледная кожа, редкие седые волосы и слабые, беспомощные руки. Я подумал о том, сколько стараний мы прилагаем, чтобы выглядеть мускулистыми — отжимаемся, упражняемся с гантелями, а природа в конечном счете сводит все к нулю. Старательно разминая Морри, как велела физиотерапевт, я ощущал под пальцами рыхлую плоть. Я стучал по его спине, а хотелось, по правде говоря, стучать кулаками по стене.

— Митч...

Я стукнул в очередной раз, Морри глотнул воздух, и голос его взметнулся ввысь, как молот над наковальней.

— Да?

— Когда же... это я... поставил тебе... четверку?

Морри верил в природную доброту людей. Но в то же время он видел, во что люди могут превратиться.

— Люди становятся низкими, только когда им что-то угрожает, и это то, что без конца делает наше общество. И наша экономика. Даже те, у кого есть работа, живут под угрозой страха ее потерять. А когда ощущаешь угрозу, ты начинаешь заботиться только о себе. И начинаешь обожествлять деньги. Это часть нашей культуры, — выдохнул Морри, — которую я не принимаю.

Я кивнул и сжал его руку. Мы теперь часто соприкасались руками. Еще одно новшество в моей жизни. То, чего прежде я стыдился или смущался, теперь стало обыденным. Прозрачный катетеровый мешок, подключенный к трубочке внутри Морри и наполненный жидкими зеленоватыми отходами, теперь покоился на полу прямо возле моей ноги. Еще несколько месяцев назад я бы при виде его испытал омерзение, теперь же не придавал этому никакого значения, так же как и запаху, наполнявшему комнату после того, как Морри ходил на переносной стульчак. Морри больше не мог передвигаться с места на место, закрывать за собой дверь туалета и распылять освежитель воздуха перед уходом. Здесь была его постель, его кресло, его жизнь. Если бы меня затолкали в этаким наперсток, вряд ли в моей комнате пахло бы лучше.

— Так вот, построить собственную субкультуру, — продолжал Морри, — вовсе не значит пренебрегать правилами общества, в котором

живешь. Я, к примеру, не расхаживаю по улицам голый и не несусь вперед на красный свет. Этим мелочам я могу подчиниться. Но самое серьезное — образ мышления, ценности — мы должны выбирать сами. Нельзя позволять никому — и никакому обществу — их тебе навязывать. Возьми, к примеру, мое положение. В том, чего я должен был бы теперь стыдиться — неспособности ходить, или вытирать свой зад, или желания плакать по утрам, — ничего постыдного нет. Как и в женской полноте или в отсутствии богатства у мужчины. А наше общество заставляет нас верить, что это стыдно. А ты не верь.

Я спросил Морри, почему же он не уехал куда-нибудь, когда был помоложе.

— А куда?

— Не знаю. В Южную Америку. В Новую Гвинею. Туда, где люди не так эгоистичны.

— В каждом обществе есть свои проблемы. — Брови Морри поползли вверх — так он теперь делал, вместо того чтобы пожимать плечами. — Так что убегать без толку. Нужно создавать свою собственную культуру. Где бы мы ни жили, наш главный дефект — близорукость. Человеку надо понять, каков его потенциал, и попытаться достигнуть всего, на что он способен. Но если вокруг тебя без конца вопят: «Хочу все немедленно!» — то дело кончается тем, что в стране появляется группа людей, у которых есть все: и полиция, и военные, которые призваны удерживать бедных от бунта и захвата «этого всего».

Морри посмотрел в окно. Порой за ним слышался шум проходящего грузовика или порыва ветра. Морри внимательно вгляделся в соседние дома, а потом продолжил:

— Проблема в том, Митч, что мы не хотим поверить: в нас во всех много общего. В белых и черных католиках и протестантах, мужчинах и женщинах. Если б мы увидели это сходство, то скорее всего объединились бы в одну человеческую семью и заботились о ней как о своей собственной. Поверь мне, умирая ясно видишь это. У всех у нас одно и то же начало — рождение и один и тот же конец — смерть. Чем же мы так сильно отличаемся друг от друга? Каждый может внести свой вклад в человеческую семью и каждый может построить небольшую общину из тех, кого он любит и кто любит его.

Он легонько сжал мою руку. А я сжал его — чуть сильнее. И как на ярмарочном соревновании, где от рара молотом вверх по столбу взлетает диск, тепло моего тела как будто потекло по телу Морри вверх от груди к шее, щекам и глазам. Он улыбнулся.

— В начале жизни, когда ты младенец, без других не выжить, правда? И в конце жизни, когда ты в таком положении, как я, тоже без других не выжить, правда? — Голос Морри понизился до шепота. — Но весь секрет в том, что и в промежутке нам без этих других тоже не обойтись.

Позже в тот же день мы с Конни пошли в другую комнату посмотреть по телевидению оглашение приговора О. Дж. Симпсона. Сцена была напряженная: все главные действующие лица стояли лицом к присяжным — Симпсон в синем костюме, окруженный армией адвокатов, а в двух шагах от них — прокуроры, жаждущие увидеть его за решеткой. Когда один из присяжных зачитал приговор: «Не виновен», Конни вскрикнула: «Боже мой!»

Мы увидели, как Симпсон обнимает адвокатов. Услышали, как комментаторы пытались объяснить, что произошло. Толпы негров ликовали возле здания суда, а толпы белых застыли, потрясенные, перед телевизорами в ресторанах. И хотя убийства совершаются каждый день, это решение суда было для всех потрясением. Конни ушла из комнаты. С нее было довольно.

Я услышал, как закрылась дверь в кабинет Морри. А я все сидел, уставившись в экран телевизора. *«Весь мир видел это»*, — сказал я себе. И тут я услышал знакомый шум — Морри поднимали со стульчака. Я невольно улыбнулся. В ту минуту, когда «Судебный процесс века» достиг кульминации, мой старик-профессор сидел на горшке.

1979 год, баскетбольный матч в спортивном зале университета Брандейса. Команда университета идет впереди, и студенты начинают скандировать:

— Мы — первые! Мы — первые!

Морри сидит поблизости. Он озадачен их криками. И вдруг прямо посреди выкрика «Мы — первые!» Морри вскакивает и кричит:

— А что страшного, если и вторые?!

Студенты смотрят на него в изумлении и замолкают. Морри садится на место и торжествующе улыбается.

Наглядные пособия. Часть третья

Съемочная группа «Найтлайн» приехала к Морри в третий и последний раз. Тон передачи был теперь совсем иной. Разговор почти не походил на интервью, больше — на грустное прощание. Перед тем как прийти, Тед Коппел позвонил не один раз и все спрашивал Морри:

— Вы думаете, это вам под силу?

Морри не был в этом уверен:

— Я теперь, Тед, все время усталый. И часто задыхаюсь. Если я что-то не смогу сказать, вы скажете это за меня?

Коппел пообещал. И тут этот журналист-стоик добавил:

— Если вам, Морри, не хочется этого делать, ничего страшного. А попрощаться я все равно приду.

Положив трубку, Морри довольно усмехнулся:

— Похоже, я его пронял.

И так оно и было — Коппел теперь называл Морри своим другом. Мой старик-профессор умудрился вызвать сочувствие даже у людей из телебизнеса.

На интервью, состоявшемся в пятницу днем, Морри был в той же рубашке, что и накануне. Морри теперь переодевался через день; и так как это не был «день переодевания», он решил не менять заведенного правила.

В отличие от предыдущих двух съемок эта проходила только в кабинете Морри, где тот уже давно был пленником своего кресла. Коппелу приходилось прижиматься к книжному шкафу, чтобы попасть в кадр.

Еще до начала съемки Коппел спросил Морри про его состояние:

— Дела плохи, Морри?

Профессор попытался поднять руку, и она едва дотянулась до живота. Выше он поднять ее уже не мог. Это и был его ответ Коппелу.

Камера застрекотала. Началось третье и последнее интервью. Коппел спросил Морри, стало ли ему страшнее с приближением смерти. Морри сказал, что нет, по правде — даже менее страшно, чем прежде. Морри объяснил, что все больше и больше отстраняется от внешнего мира: ему почти не читают газет и на почту он уже не обращает особого внимания, зато чаще слушает музыку и наблюдает, как листва меняет цвет.

Морри сказал, что знает и о других людях, страдавших от болезни Лу Герига; некоторые из них знаменитости вроде Стивена Хокина, блестящего физика и автора «Краткой истории времени». Он жил с отверстием в горле,

говорил с помощью компьютерного синтезатора и печатал слова с помощью сенсора, реагирующего на движения его глаз. Морри им восхищался, но сам бы так жить не хотел. Он знает, когда придет его время прощаться с жизнью.

— Для меня, Тед, жить — значит общаться с людьми. Выражать свои чувства. Говорить с ними. Сопереживать им... — Морри выдохнул. — А когда это прекратится, не станет и меня.

Они беседовали как приятели. И, как в прошлом интервью, Коппел спросил о том тесте «на вытирание зада», похоже, ожидая юмористического ответа. Но у Морри не было сил даже улыбнуться. Он только покачал головой:

— Я уже не могу сидеть на стульчаке прямо. Меня качает из стороны в сторону, и меня придерживают. А потом вытирают. Вот до чего дошло.

Морри сказал Коппелу, что хотел бы умереть безмятежно. И поделился с ним своим последним афоризмом: «Не лети туда сломя голову, но и не торчи тут до бесконечности».

Коппел печально кивнул. Всего шесть месяцев прошло с той первой передачи, а Морри Шварц уже явно был не жилец. Он умирал на глазах всей Америки. Мини-сериал о смерти. И хотя тело профессора постепенно разлагалось, дух его сиял еще ярче, чем прежде.

К концу интервью в кадре оставался только Морри — Коппела камера не снимала, его голос слышался где-то рядом. Коппел спросил Морри, хочет ли он что-нибудь сказать миллионам телезрителей. И, хотя у Коппела такого и в мыслях не было, прозвучало это как предложение осужденному на смерть сказать свое последнее слово.

— Сочувствуйте друг другу, — прошептал Морри, — и будьте друг другу опорой. Если бы мы этому научились, на свете было бы намного лучше жить. — Морри вдохнул и добавил: — «Любите друг друга — иль погибните вы».

Интервью закончилось. Но по какой-то причине камеру не выключили, и последняя сцена тоже записалась на пленку.

— Отличная работа, Морри, — сказал Коппел.

— Сделал, что мог, — ответил профессор.

— Как всегда.

— Тед, эта болезнь подтачивает мой дух, но она не сломит его. Она сломит мое тело. Но не сломит его.

У Коппела увлажнились глаза.

— Молодец, Морри.

— Ты так считаешь? — Морри закатил глаза к потолку. — Это я

торгуюсь с Ним. Превратит Он меня в ангела или нет.

Впервые за все время Морри признался, что говорит с Богом.

Вторник двенадцатый. Мы говорим о прощении

«Прежде чем умереть, прости себя. Потом прости других».

Прошло несколько дней после интервью для «Найтлайн». Небо было мрачное, дождливое. Морри сидел, накрывшись одеялом, а я — поодаль от него, держа в руках его босые ноги. Ноги были сморщенные и мозолистые, а ногти совсем желтые. И еще в руках у меня была баночка с кремом: я выдавливал из нее понемногу на ладонь и массировал Морри лодыжки.

Еще одна процедура, которую профессору делали уже в течение нескольких месяцев, и я, стараясь удержать хоть толику того, что было возможно, напросился делать ее сам. Из-за болезни Морри не мог теперь даже пошевелить пальцами ног, хотя по-прежнему чувствовал боль, и массаж помогал облегчить ее. К тому же Морри нравилось, когда до него дотрагивались. И я теперь готов был сделать что угодно, только бы доставить ему радость.

— Митч, — сказал Морри, возвращаясь к теме прощения, — мстительность и упрямство лишены всякого смысла. И если бы ты знал, как я о них сожалею. — Морри вздохнул. — Гордыня. Тщеславие. И что нас толкает на поступки, о которых мы потом жалеем?

Важность прощения — еще один из моих вопросов. Я помнил фильмы, где патриарх семьи на смертном ложе просит позвать отверженного сына, чтобы перед смертью помириться с ним. И мне хотелось знать, была ли и у Морри нужда сказать кому-то «прости» перед смертью.

— Видишь ту скульптуру? — Морри кивнул на бюст, что стоял на полке возле дальней стены кабинета.

Я никогда прежде не обращал на него внимания. Бронзовая голова мужчины лет сорока в галстуке, с прядью волос, ниспадающей на лоб.

— Это я, — сказал Морри. — Мой друг Норман изваял этот бюст около тридцати лет назад. Мы с Норманом в свое время были неразлучны. Вместе плавали. Вместе ездили в Нью-Йорк. Я приехал к нему домой, в Кембридж, и он ваял этот бюсту себя в подвале. Несколько недель подряд работал над ним — хотел, чтобы получилось как можно лучше.

Я внимательно всмотрелся в скульптуру. Так странно было видеть трехмерного Морри, молодого и здорового, взирающего на нас с высоты.

Даже в бронзе вид у него был причудливый, и я подумал, что другу Морри удалось передать не только внешнее сходство, но и дух профессора.

— А теперь грустная часть истории. Норман с женой переехали в Чикаго. А вскоре Шарлотт предстояла серьезная операция. Норман и его жена совсем пропали. Я знал, что им было известно об операции, но они ни разу не позвонили спросить, как у Шарлотт дела. Мы очень обиделись и прервали с ними отношения. Я потом не раз сталкивался с Норманом, и он пытался со мной помириться. Но я отказывался — меня не устраивали его объяснения. Я из гордости отталкивал его.

Морри закашлялся.

— Митч... несколько лет назад... он умер от рака. Мне очень тяжело. Я ведь его так и не видел. И так и не простил. А теперь мне больно...

Морри заплакал — тихо, беззвучно. Я продолжал втирать крем в его онемевшие пальцы. А он, окунувшись в воспоминания, продолжал плакать еще пару минут.

— И не только других мы должны простить, Митч, — почти шепотом продолжал Морри. — Мы должны простить и себя тоже.

— Себя?

— Да, себя. За все, что нам не удалось сделать. За все то, что мы должны были бы сделать. Нельзя увязать в сожалениях о том, чего не случилось. Это очень мешает, когда оказываешься в том положении, в котором сейчас я. Мне всегда хотелось достичь большего в своей работе; написать больше книг, чем я написал. Я, бывало, корил себя за это. Теперь я вижу: это ни к чему. Примиришься. Примиришься с собой и со всеми, кто вокруг тебя.

Я наклонился к Морри и бумажным платком промокнул ему слезы. Морри заморгал. Его шумное дыхание напоминало легкий храп.

— Прости себя. Прости других, Митч. Не жди. Не всем дается на это время, как сейчас дается оно мне. Не всем так везет.

Я бросил бумажный платок в корзину для мусора и снова принялся за его ноги. Везет? Я надавил пальцем затвердевшую плоть, а он этого даже не почувствовал.

— Натяжение противоположностей, Митч. Помнишь? Силы, что тянут тебя в разные стороны.

— Помню.

— Я скорблю об ускользающем времени, но и радуюсь, что у меня есть шанс поправить что можно.

Мы сидели в молчании. В окно хлестал дождь. За спиной Морри гибискус все еще не сдавался, маленький, но крепкий.

— Митч, — шепотом позвал меня Морри.

— Да? — Я тербил его пальцы, поглощенный своим занятием.

— Посмотри на меня.

Я наткнулся на его пронизательный взгляд.

— Я не знаю, почему ты вернулся ко мне. Но я хочу сказать тебе... —

Он замолчал — голос его будто оборвался. — Если б у меня мог быть еще один сын, я бы хотел, чтоб это был ты.

Я опустил глаза и принялся еще сильнее растирать отмирающую плоть его пальцев. На мгновение мне стало страшно: а что, если принимая это признание, я предаю своего отца? Но, подняв глаза, я увидел лицо Морри, улыбавшегося сквозь слезы, и понял: в такие мгновения предательства быть не может.

Теперь страшным стало другое — сказать «прощай».

— Я выбрал себе погребальное место.

— Где же это?

— Недалеко отсюда. На холме под деревом, возле пруда.

Тихое, безмятежное. В таком месте хорошо размышлять.

— Вы там собираетесь размышлять?

— Я там собираюсь лежать мертвым.

Морри зашмыгал. И я вместе с ним.

— Ты будешь приходить меня навещать?

— Навещать?

— Так, прийти поговорить. Например, во вторник. Ты же всегда приходишь ко мне во вторник.

— Мы ведь люди вторника.

— Точно. Люди вторника. Так что, придешь?

Как же он ослабел за эти последние дни.

— Посмотри на меня, — попросил Морри.

— Смотрю.

— Так ты придешь ко мне на могилу? Рассказать о своих проблемах?

— О моих проблемах?

— Да

— И вы мне поможете их решить?

— Помогу чем смогу. Как обычно.

Я представляю себе его могилу на холме возле пруда — клочок земли, куда его поместят, засыплют землей и положат сверху камень. Через несколько недель? Или несколько дней? Я

представляю, как сижу там один, скрестив руки на коленях, уставившись в пространство.

— Это будет совсем не как обычно. Я не услышу, как вы говорите.

— А... как я говорю...

Морри закрывает глаза и улыбается.

— А давай сделаем так. После того как я умру, говорить будешь ты. А я буду слушать.

Вторник тринадцатый. Мы говорим о совершенном дне

Морри захотел, чтобы его кремировали. Он обсудил это с Шарлотт, и они решили, что так будет лучше. Морри пришел навестить его давнишний друг Эл Аксельрод, раввин из университета Брандейса, которого они попросили вести похоронную службу, и Морри сказал ему, что предпочитает кремацию.

— И еще, Эл...

— Что, Морри?

— Проследи, чтобы меня не пережарили.

Раввин остолбенел. А Морри теперь мог с легкостью подшучивать над своим телом. Чем ближе он был к концу, тем больше ему казалось, что тело — лишь шелуха, оболочка души. Оно увядало, превращаясь в бесполезные кости и кожу, и потому с ним теперь легче было расстаться.

— Мы страшно боимся самого вида смерти, — сказал Морри, когда я сел рядом с ним.

Я поправил микрофон у него на воротнике, но он все равно падал. Морри закашлялся. Он теперь кашлял почти без остановки.

— Я на днях читал книгу. Так в ней сказано, что как только кто-то умирает в больнице, его сразу накрывают простыней, подвозят к чему-то вроде люка и спускают вниз. Стремятся поскорее убрать умершего куда подальше. Как будто смерть заразна.

Я возился с микрофоном, а Морри наблюдал за моими руками.

— А она не заразна. Она так же естественна, как и жизнь. Она — часть врученного нам комплекта.

Морри снова закашлялся, а я весь напрягся, в любую минуту готовый ко всему. Ночью профессору теперь было совсем худо. Поспать удавалось лишь час-другой, а потом он просыпался от дикого, удушающего кашля. Дежурившая медсестра входила в спальню, стучала по его спине, пытаясь выбить мокроту. Но даже если удавалось привести дыхание в «норму» — а удавалось это теперь только с помощью кислородного аппарата, — на следующий день Морри был совершенно разбит.

Из носа у него теперь торчала кислородная трубка. Я с ненавистью смотрел на этот символ беспомощности. Так и хотелось ее выдернуть.

— Прошлой ночью... — тихо заговорил Морри.

— Да? Прошлой ночью?

— У меня был жуткий приступ. Он длился долгие часы. Я думал, что не выживу. Кашель не прекращался. Дыхания почти не было. Вдруг у меня закружилась голова... и я ощутил какую-то умиротворенность; я почувствовал, что готов отойти.

Глаза Морри расширились.

— Митч, это было совершенно невероятное ощущение. Чувство принятия того, что происходит, чувство умиротворенности. Я подумал о том сне, что видел на прошлой неделе, — сне, когда я переходил мост в неизвестное. Это было ощущение готовности идти туда, куда предназначено.

— Но ведь этого не случилось?

Морри помолчал. А потом легонько замотал головой:

— Нет, но я почувствовал, что *способен это сделать*. Ты понимаешь? Это то, что необходимо каждому. Примирение с мыслью о смерти. Если бы мы знали, что в конечном счете можем примириться со смертью, нам бы тогда было по плечу и то, что еще труднее.

— Что же это?

— Примирение с жизнью.

Морри попросил, чтобы я принес ему гибискус, стоявший на подоконнике позади него. Я поставил растение на ладонь и поднес к его лицу. Морри улыбнулся.

— Умирать естественно, — повторял он. — Смерть наводит на нас такой ужас только потому, что мы не считаем себя частью природы. Мы думаем, раз мы люди, значит, мы выше природы.

Морри улыбнулся цветку.

— Нет, мы не выше ее. Все, что рождается, умирает. — Морри посмотрел на меня. — Ты с этим согласен?

— Да.

— Ладно, — прошептал он, — а теперь о преимуществе. Все-таки мы *отличаемся* от растений и животных. До тех пор, пока мы любим друг друга и сохраняем это чувство любви, мы, умирая, не исчезаем. Нежность не умирает. Воспоминания не умирают. Ты продолжаешь жить в сердце каждого, чьей жизни в свое время коснулся любовью и заботой.

Голос его задрожал. Это обычно означало, что ему надо передохнуть. Я поставил растение на место и пошел выключить магнитофон. Но до того как я успел его выключить, он записал последнюю в тот день фразу Морри: «Смерть завершает жизнь, но не отношения».

Поиски средства для лечения болезни Лу Герига продолжались, и скоро должно было появиться новое экспериментальное лекарство. Оно не вылечивало, но замедляло развитие болезни на несколько месяцев. Морри о нем слышал, но он уже был в иной стадии, к тому же появиться в продаже лекарство могло только через несколько месяцев.

— Не для меня, — решительно отверг лекарство Морри.

С тех пор как Морри заболел, он ни разу не тешил себя надеждой вылечиться. Свое положение он оценивал более чем трезво. Однажды я спросил его: если по волшебству он бы вдруг выздоровел, стал бы он со временем таким, каким был прежде?

Морри покачал головой:

— Об этом не может быть и речи. Я теперь совсем другой человек. Мои взгляды иные. Я ценю свое тело, которое я никогда по-настоящему не ценил. И мое отношение к серьезным вопросам жизни, вечным вопросам, тоже совсем иное. В этом суть. Стоит только раз сосредоточиться на важном, и ты уже не можешь его больше игнорировать.

— А какие вопросы вы считаете важными?

— Мне кажется, это вопросы, связанные с любовью, ответственностью, духовностью. И будь я сейчас здоров, они бы все равно были для меня главными. И всегда должны были бы быть главными.

Я попытался представить Морри даровым. Попытался вообразить, как он сбрасывает с себя одеяла, встает с кресла и мы с ним отправляемся на прогулку по окрестностям, как, бывало, гуляли по территории университета. До меня вдруг дошло: последний раз я видел его на ногах шестнадцать лет назад!

— А если бы вам вернули здоровье на один-единственный день, — спросил я, — как бы вы этот день провели?

— Двадцать четыре часа?

— Двадцать четыре часа.

— Надо подумать... Я бы встал утром, сделал зарядку, съел чудесный завтрак — сладкие булочки с чаем, — пошел бы поплавать, а потом пригласил друзей на вкусный обед. И пусть бы они пришли по одному или по двое, чтобы мы могли поговорить об их делах, их семье и о том, что мы значим друг для друга. А потом я бы пошел на прогулку в какой-нибудь сад посмотреть на деревья, послушать птиц, впитать красоту природы, которую я так давно не видел. А вечером я отправился бы в ресторан, где вкусно готовят, может быть, заказал утку — я люблю утку, — а потом весь вечер танцевал. Я перетанцевал бы там со всеми лучшими партнершами, пока не свалился от усталости. А потом пошел бы домой и глубоко и сладко уснул.

— И это все?

— Все.

Так незатейливо. Так обыкновенно. Я был разочарован. Я-то думал, что он полетит в Италию, или пойдет на завтрак с президентом, или будет наслаждаться плаванием в море, или испробует все экзотическое, что только придет на ум. Как мог он после всех этих месяцев неподвижного лежания найти удовлетворение в таком прозаическом дне?

И вдруг я понял: в этом-то и была вся суть.

В тот день перед отъездом Морри спросил меня, может ли он поговорить со мной о чем-то.

— О твоём брате, — добавил он.

Меня пробрала дрожь. Как он догадался, что брат был у меня все время на уме? Я неделями пытался дозвониться ему в Испанию и лишь на днях узнал от его друга, что брат постоянно летал на лечение в Амстердам.

— Я знаю, Митч, как больно, когда не можешь быть с тем, кого любишь. Но ты должен смириться с его желаниями. Может быть, он не хочет нарушать твою жизнь. Может, это для него слишком тяжкое бремя. Я всем своим близким говорю: продолжайте жить своей жизнью, то, что я умираю, не должно рушить вашу жизнь.

— Но ведь он — мой брат!

— Я знаю. Поэтому тебе так больно.

В моем воображении вдруг возник Питер: ему восемь лет, кудрявые светлые волосы торчат на макушке. Мы боремся на траве возле дома, и зелень травы впитывается в джинсы ярко-зелеными пятнами, а вот он стоит перед зеркалом с расческой в руках вместо микрофона и поет. Или мы протискиваемся на чердак и прячемся там, испытывая родителей — найдут или не найдут нас к обеду.

А потом я вижу его отдалившимся от меня взрослым, тонким и хрупким, скуластое, тощее от химиотерапии лицо.

— Морри, почему он не хочет меня видеть?

Старик-профессор вздохнул:

— Отношения между людьми не строятся по шаблону. Их надо любовно отлаживать, так, чтобы каждый получал от них то, что ему нужно, и то, что ему хочется, и делал то, что он может, не в ущерб себе и другому. В бизнесе люди настроены на то, чтобы выиграть. Чтобы получить желаемое. И это, возможно, то, к чему ты привык. В любви же все по-другому. В любви ты заботишься о другом ничуть не меньше, чем о себе. У тебя были с братом близкие отношения, а теперь их нет. Ты хочешь их

вернуть. Ты вообще не хотел, чтобы они прекращались. Но так устроены люди. Отношения прекращаются, а потом возобновляются. Прекращаются и возобновляются.

Я посмотрел на Морри и увидел, как близко к нему подступила смерть. Я почувствовал себя таким беспомощным.

— Ты найдешь путь к своему брату, — сказал Морри.

— Почему вы так в этом уверены?

Морри улыбнулся:

— Ты же нашел меня.

— На днях я услышал занятную историю.

Морри на мгновение закрывает глаза, и я жду, когда он продолжит.

— Так вот. Эта история о маленькой волне, что с наслаждением резвилась в океане. Она наслаждалась ветром и свежим воздухом... пока вдруг не заметила, как другие волны, катившиеся перед ней, разбиваются об берег.

«Боже мой, это ужасно! — воскликнула волна. — И сейчас это случится со мной!»

И тут мимо пробегает другая волна. Она видит, как мрачна первая, и спрашивает: «Отчего ты такая грустная?» А первая ей в ответ: «Ты что, ничего не понимаешь? Мы сейчас все разобьемся! И от нас ничего не останется! Разве это не ужасно?»

Тогда вторая ей говорит: «Это ты ничего не понимаешь. Ты думаешь, что ты волна, а ты всего лишь частица океана».

Я улыбаюсь. Морри снова закрывает глаза.

— Частица океана, — повторяет он. — Частица океана.

Я наблюдаю, как он дышит: вдох — выдох, вдох — выдох.

Вторник четырнадцатый. Мы говорим «прощай»

Был холодный, промозглый день. Я поднимался по ступеням дома Морри и обращал внимание на мелочи, которых не замечал прежде: силуэт холма, каменный фасад дома, вечнозеленые растения и мелкие кусты вдоль дороги. Я шел медленно, не торопясь, наступая на мокрые мертвые листья, распрямлявшиеся под моими ногами.

Накануне мне позвонила Шарлотт и сказала, что у Морри «дела плохи». По тому, как она сказала это, я понял: дни его сочтены. Морри отменил все свои встречи и почти все время спал, что было совсем не в его духе. Он не был любителем поспать, особенно если было с кем поговорить.

— Он просит, чтобы вы его навестили, — сказала Шарлотт. — Но только, Митч... он очень слаб.

Ступени крыльца. Стекло входной двери. Я впитываю все эти мелочи так, словно вижу впервые. Нащупываю магнитофон в сумке на плече, расстегиваю молнию — убедиться, что не забыл пленки. Сам не знаю, зачем это делаю. Пленки всегда при мне.

Дверь открывает Конни. Всегда жизнерадостная, сегодня она выглядит совсем уныло. И здоровается со мной едва слышно.

— Как у него дела? — спрашиваю я.

— Так себе. — Конни закусывает нижнюю губу. — Даже думать об этом не хочется. Знаете, он такой добрый человек.

— Знаю.

— Так жаль его.

Появилась Шарлотт, подошла ко мне и обняла. Сказала, что Морри еще не просыпался, хотя было уже десять часов утра. Мы отправились на кухню. На столе, выстроившись в ряд, стояли бутылочки с лекарствами — маленькая армия коричневых пластмассовых солдатиков в белых фуражках. Чтобы облегчить дыхание, Морри теперь принимал морфий.

Я положил принесенную с собой еду в холодильник — суп, овощные пирожки, салат с тунцом — и извинился перед Шарлотт за то, что принес все это. Мы оба знали, что Морри уже давно не мог ничего жевать, но для меня это была традиция. А когда знаешь, что потеря близка и неизбежна, цепляешься за любую традицию.

Я сел ждать в гостиной, где Коппел проводил с Морри первое

интервью.

На столе лежала газета, и я стал ее читать. В Миннесоте два мальчугана играли с отцовскими ружьями и выстрелили друг в друга. В одном из переулков Лос-Анджелеса в мусорном баке нашли брошенного младенца.

Я отложил газету и уставился на камин. Наконец я услышал, как открылась и закрылась дверь, а потом до меня донесся звук шагов Шарлотт.

— Ну что ж, — тихо сказала она, — он вас ждет.

Я встал и двинулся к нашему заветному месту и вдруг увидел, что в конце коридора на складном стуле, скрестив ноги и уткнувшись в книгу, сидит незнакомая женщина. Это была дежурная сестра из приюта для умирающих.

В кабинете никого не было. Я растерялся. Нерешительно повернулся к спальне и тут увидел Морри: он лежал на кровати, под простыней. Я видел его в такой позе только раз, когда ему делали массаж, и афоризм его: «Коль с кровати ты не встал, это значит — дуба дал» мгновенно эхом отозвался у меня в голове.

С вымученной улыбкой я вошел в спальню. Морри был в желтой, похожей на пижаму рубашке. Тело его казалось таким худым, что я на мгновение подумал: в нем чего-то не хватает. Он был такой маленький, словно ребенок.

Рот профессора был приоткрыт, бледная кожа туго обтягивала скулы. Взгляд его устремился на меня, он попытался что-то сказать, но у него вырвался лишь тихий стон.

— А, вот где он, — произнес я со всем энтузиазмом, который мне удалось обнаружить в полной внутренней пустоте.

Морри выдохнул, закрыл глаза и улыбнулся, и я увидел, что даже улыбка ему теперь не по силам.

— Мой... дорогой друг... — наконец вымолвил он. — У меня дела... не очень хороши... сегодня...

— А завтра будут лучше.

Он с трудом вдохнул и с усилием кивнул. Вдруг я увидел, как он с чем-то сражается под простыней, и понял: он пытается высвободить из-под нее руку.

— Подержи ее... — сказал Морри.

Я отодвинул простыню, взял его руку, и она тут же утонула в моей. Я придвинулся ближе, почти вплотную к его лицу. И тут я заметил: профессор был небрит — впервые за все время болезни. Торчавшие тут и там крохотные седые щетинки казались совершенно неуместными на его

лице, словно кто-то обсыпал ему щеки и подбородок солью. И как это борода растёт у человека, в чьём теле едва теплится жизнь?

— Морри, — тихо позвал я.

— Тренер, — поправил Морри.

— Тренер, — повторил я. Меня пробрала дрожь. Речь Морри теперь походила на короткие вспышки: воздух — на вдохе, слово — на выдохе, а голос был тихий и дребезжащий. И ещё от него исходил сильный лекарственный запах.

— Ты... добрый человек.

Добрый человек.

— Ты тронул меня... — шепотом сказал Морри и подвинул мою руку к своему сердцу, — вот тут.

В горле у меня застрял комок.

— Тренер...

— А-а?

— Я не знаю, как сказать «прощай».

Морри легонько похлопал меня по руке, не отнимая ее от своей груди.

— Вот так... мы говорим... прощай...

Он тихо вдохнул и выдохнул, и я рукой ощутил, как его грудь поднялась и опустилась. И тут он взглянул мне прямо в глаза.

— Ты мне... очень дорог... — выдохнул он.

— И вы мне тоже... тренер.

— Я знаю... и ещё я знаю...

— Что ещё вы знаете?

— Что... так было... всегда...

Он зажмурился и заплакал. Лицо его сморщилось, как у младенца, который ещё толком и не знает, как плакать. Я прижал его к себе. Я гладил его обвисшую кожу. Я гладил его по волосам. Я провел ладонью по его лицу и ощутил проступившие под тонкой кожей скулы и крохотные, как будто на капанные из пипетки, слезы.

Когда его дыхание стало чуть ровнее, я откашлялся и сказал, что вижу, какой он сегодня усталый, так что я приеду в следующий вторник и надеюсь, он будет пободрее. Морри проронил «спасибо» и тихонько хмыкнул — так он теперь смеялся. Но вышло это все равно невесело.

Я подхватил сумку с магнитофоном, которую так и не раскрыл. Зачем я ее только принес? Я ведь знал, что она нам не понадобится. Я наклонился к Морри совсем близко, поцеловал и прижался лицом к его лицу, щекой к его щеке, щетиной к щетине, задержавшись чуть дольше обычного на случай, если это доставит ему хоть какое-то удовольствие.

— Ну, пока? — спросил я, поднимаясь.

Я сморгнул слезы, а он, увидев мое лицо, сжал губы и изумленно поднял брови. Я думаю, это была минута удовлетворения для моего старика-профессора. Он-таки заставил меня заплакать.

— Ну, пока, — прошептал он.

Выпускная церемония

Морри умер в субботу утром.

Все его родные были с ним. Роб прилетел из Токио, и Ион был рядом с ним, и, конечно, Шарлотт, и двоюродная сестра Шарлотт Марша, та, что написала стихотворение к «неофициальной церемонии» Морри, которое так его тронуло. Они по очереди дежурили возле его постели. Морри впал в кому через два дня после нашей последней встречи, и, по мнению врача, ему оставались считанные минуты. Он продержался еще день и ночь.

Но вот четвертого ноября, когда родные на минуту отлучились на кухню за чашкой кофе, впервые оставив Морри одного, у него остановилось дыхание.

И его не стало.

Я полагаю, это случилось неспроста. Он не хотел никого пугать. Не хотел, чтобы родные испытали тот ужас, какой испытал в свое время он, когда получил телеграмму о смерти матери или когда увидел тело отца в морге.

Я думаю, Морри сознавал, что лежит в своей постели и что его книги, и записи, и маленький гибискус — все это рядом с ним. Он хотел уйти из жизни безмятежно и именно так ушел.

Его хоронили ветреным, сырым утром. Трава была влажная, а небо молочного цвета. Мы стояли возле вырытой в земле ямы и слышали, как в пруду плескалась о берег вода, а утки отряхивали перья.

Сотни людей хотели прийти на похороны, но Шарлотт попросила, чтобы были только близкие друзья и родственники. Раввин Аксельрод прочел несколько стихотворений, а брат Морри Дэвид, все еще хромавший от перенесенного в детстве полиомиелита, по традиции взял лопату и бросил в могилу землю.

Когда прах профессора опустили в землю, я осмотрелся вокруг и подумал: «Морри был прав — чудное место. Деревья, трава, пологий склон».

Как он тогда сказал? «Ты говори, а я буду слушать».

И я начал мысленно говорить с ним. И к моей радости, эта воображаемая беседа зазвучала почти естественно. Взгляд мой упал на часы, и я понял почему. Был вторник.

Послесловие

Дорогой читатель!

Прошло десять лет со времени первой публикации «Вторников с Морри», и в честь этой годовщины меня попросили поделиться размышлениями о книге. Задача оказалась непростой. Эта книга изменила мою жизнь, а также, судя по письмам, и жизни многочисленных читателей из самых разных уголков мира. С чего же начать?

Пожалуй, начну с истории, которую не включил в первоначальный вариант рукописи. Собирался, но почему-то не включил. И вот теперь, столько лет спустя, она перед вами.

Когда я впервые позвонил Морри Шварцу, моему старому, тогда уже тяжелобольному профессору, то посчитал, что следует заново ему представиться.

Ведь мы с ним не виделись целых шестнадцать лет. Кто знает, помнит ли он меня? В колледже я называл его «тренер». А почему — не помню. Видимо, уже тогда была какая-то тяга к спорту. *«Здравствуйте, тренер!» «Как дела, тренер?»* — бывало говорил я.

Как бы то ни было, в тот день, набрав его номер и услышав в трубке «Алло», я откашлялся и произнес: «Морри, меня зовут Митч Элбом. Я был вашим студентом в семидесятые. Вы меня, наверное, не помните».

И вдруг он мне отвечает: «А почему ты не назвал меня тренером?»

С этого предложения началось мое странствие. Это предложение провело меня через наш телефонный разговор, через мою первую, наполненную безмерным чувством вины поездку в Западный Ньютон, через все последующие визиты по вторникам, через медленную агонию и угасание Морри, и его спокойную, полную достоинства смерть. Оно провело меня через его похороны, дни моей скорби и дни, когда я, сидя в полуподвале, писал эту книгу, через первую скромную ее публикацию и через неожиданные двести последующих. Оно не покидало меня ни на родине, ни в других странах, когда эту книгу изучали в школах или читали отрывки на похоронах и свадьбах. Оно продолжало жить во мне, когда я читал тысячи писем и электронных посланий и в те моменты, когда меня со слезами на глазах обнимали совершенно незнакомые люди. Все они в общем-то хотели сказать одно: ваша история нас растрогала.

Но это была не моя история.

Это была история Морри. И его приглашение. Это был его последний

урок, на который он пригласил меня.

«А почему ты не назвал меня тренером?»

Потому, что я об этом забыл. А он помнил.

Этим-то Морри от меня и отличался.

И именно этому Морри меня и научил. Теперь я помню все. Да и как тут забудешь? Почти каждый день мне задают вопросы о моем старике-профессоре, и я часто шучу — книга теперь мстит мне за то, что я столько лет не вспоминал о Морри. Я стал его вечным студентом-выпускником, возвращающимся к преподавателю в класс каждую осень, весну и лето прослушивать одни и те же лекции. И я не против. Я всегда считал, что у Морри есть чему поучиться. Я так считал тридцать лет назад, когда он носил бакенбарды и желтые водолазки, а во время лекций отчаянно жестикулировал. Мое мнение не изменилось и спустя много лет, когда измученный болезнью Морри лежал дома в кресле, неподвижный и хрупкий, говорил едва слышно и был так слаб, что мне приходилось поворачивать его голову, чтобы он мог меня видеть.

Морри оставался таким же мудрым и, как прежде, с любовью относился к людям. И надежда его сбылась: до последнего своего дня он был учителем.

Размышляя о том, что написать в этом послесловии, я обратился к записям, сделанным мною по ходу наших бесед. В свое время я расшифровал с магнитофонных пленок тексты всех наших бесед и рассортировал их по темам. Я прокручивал пленку за пленкой и снова вслушивался в его голос в надежде набрести на какую-то новую тему, на что-то, о чем еще не успел рассказать и чем бы хотел теперь поделиться с читателями.

И я натолкнулся на тему: «Жизнь после смерти».

Морри, по его собственному признанию, долгие годы был агностиком. Но после того как ему поставили диагноз АЛС, он стал по-иному относиться к вопросу жизни и смерти и занялся им всерьез. Он обратился к религиозным учениям. И в один из вторников 1995 года мы подняли эту тему. Морри признался, что раньше он считал: смерть безжалостна и бесповоротна. «Тебя отправляют в землю, и дело с концом».

Но теперь ему все представилось в ином свете.

— И что же вы об этом думаете? — поинтересовался я.

— Я еще не совсем решил, — как всегда, честно признался он. — Но эта Вселенная так грандиозна, гармонична и непостижима, что невозможно поверить, будто смерть в ней играет случайную роль.

И такое сказал бывший агностик. *Эта Вселенная так грандиозна,*

гармонична и непостижима, что невозможно поверить, будто смерть играет в ней случайную роль? И говорил он это, когда его тело уже походило на пустую скорлупку, когда он не мог уже сам ни помыться, ни побриться, ни высморкаться, ни вытереть зад. *Грандиозна? Гармонична?* Если он, в мучительном состоянии угасания, находил в окружавшем его мире величие, то что же говорить обо всех нас?

Меня часто спрашивают, чего мне больше всего не хватает после смерти Морри. Больше всего мне не хватает его веры в человечность. Я скучаю по человеку, смотревшему на жизнь с редким воодушевлением. Мне недостает его смеха. Я и вправду по нему очень скучаю. В тот день, когда Морри говорил о жизни после смерти, он заметил, что, если бы мог выбирать, он вернулся бы в новую жизнь газелью. Читая свои записи, я обнаружил, что, выслушав его пожелание, отпустил шутку.

— То, что вы вернетесь к новой жизни — замечательно, — сказал я. — Плохо то, что жить вам придется в пустыне.

— Точно, — сказал он и рассмеялся.

Мы часто смеялись. Наверное, трудно поверить, что такое возможно, когда за углом притаилась смерть, но это действительно так. Я не знаю никого, кто так любил бы смеяться, как Морри. И никто не умел так, как он, наслаждаться даже самой незамысловатой шуткой. Вы мне не поверите, но случались дни, когда я мог рассказать ему простейшую детскую шутку, и он заходился от смеха.

Этого мне не хватает. И не хватает его терпения. И его академических ссылок. И наблюдать, с каким удовольствием он ел. И того, как он с закрытыми глазами слушал музыку.

Но больше всего, — и это, наверное, очень эгоистично, с моей стороны, — мне не хватает искр, загоравшихся в глазах Морри, когда я входил в комнату. Если кто-то рад — искренне рад — тебя видеть, на душе мгновенно теплеет. словно ты после долгого отсутствия вернулся домой. По вторникам я входил в его кабинет с цветущим за окном гибискусом и все, что еще за минуту до этого тяготило меня — неприятности в личной жизни, проблемы на работе, мучительные мысли, — все отлетало прочь в ту секунду, когда Морри со мной здоровался. Я видел как он от души радуется нашей встрече. В уголках его глаз лучами разбегались морщинки, а губы расплывались в смешную, кривозубую улыбку, — я чувствовал себя желанным гостем. И подобное в присутствии Морри испытывал не я один, — о таких же ощущениях мне рассказывали и другие люди. Возможно, эта беспощадная болезнь вырвала его из пут повседневной суеты, оторвала от мелочей и позволила отдавать себя другим целиком и

полностью. А может быть, он просто ценил отпущенное ему время. Не знаю.

Знаю только, что проведенные вместе с Морри вторники можно сравнить с непрерывным объятием человека, который не в силах шевельнуть рукой. И этого мне больше всего не хватает.

За десять лет, прошедших со времени первой публикации книги, меня много раз спрашивали, предполагал ли я, что книгу прочтает столько людей. В ответ я лишь качаю головой и улыбаюсь: «Мне такое и не снилось». Если честно, поначалу пристроить книгу никак не удавалось, — большинство издателей не проявили к ней интереса, а один даже заявил, что я понятия не имею, как надо писать мемуары. При иных обстоятельствах я, наверное, просто-напросто распрощался бы с этой идеей.

Причина, по которой я не отказался от мысли о публикации, заключалась в том, что я не ставил себе задачи написать популярную книгу. Я хотел помочь Морри оплатить его счета за медицинские услуги и потому был полон решимости и настойчив, и сломить меня было не так-то легко. Я продолжал поиски до тех пор, пока не нашел издателя. Когда я рассказал Морри, что наконец-то нашел его, и теперь мы сможем оплатить его счета, он заплакал. Я часто говорю, что на этом завершились мои «Вторники с Морри», хотя в те дни я только начинал писать эту книгу^[7]. Я добился того, чего хотел — в ответ на безграничную доброту Морри я сделал для него одно незначительное доброе дело. Это было лишь началом моего странствия.

Сегодня книга напечатана в десятках стран, где я никогда не бывал, и переведена на множество языков, на которых я не говорю и не пишу. По книге сняли телевизионный фильм, и выдающийся актер Джек Леммон признался, что роль Морри — его самая любимая. По мотивам книги была поставлена пьеса, и она обошла сцены всей Америки. Эту книгу читали в школах, университетах, приютах для умирающих, на поминальных службах, в церквях, синагогах, в читательских группах и в благотворительных обществах.

Трудно выразить словами, с каким благоговением я отношусь ко всему, что связано с этой книгой, и как я горжусь, что ненавязчивая мудрость Морри разлетелась по всему свету, — словно легким снежком припорошив мостовые. И теперь я действительно не могу с ним не согласиться: эта Вселенная так грандиозна и гармонична, что невозможно поверить, будто все это — случайность.

Надеюсь, эта книга раскроет людям глаза на АЛС, но также надеюсь,

что наступит день, когда с этой болезнью будет покончено раз и навсегда. Надеюсь, что эта книга напомнит людям о ценности времени, которое мы проводим друг с другом. И я надеюсь, что она, как и прежде, будет данью учителям — людям, которые так много значат в нашей жизни. И еще я верю, что, где бы сейчас ни находился Морри, он танцует. Он это заслужил.

В тот день я спросил Морри, какой ему представляется идеальная потусторонняя жизнь, и он ответил: «Я по-прежнему в здравом уме... и я — часть нашей Вселенной».

Размышляя о людях, уже прочитавших книгу и тех, кому только предстоит это сделать, я испытываю чувство глубокой благодарности к Морри и считаю, что его желание сбылось.

notes

Примечания

Имеется в виду Опра Уинфри — самая популярная в США ведущая телешоу. — *Здесь и далее примеч. пер.*

Хумус — блюдо арабской кухни; табули — салат из турецкого гороха и зелени.

Уистен Хью Оден (1907–1973), выдающийся поэт (родившийся в Англии и впоследствии переселившийся в США), известный непревзойденным литературным мастерством.

Эбби Хоффман и Джерри Рубин — известные активистки
антивоенного движения шестидесятых годов.

Анджела Дэвис была активисткой негритянского движения за гражданские права, членом экстремистской организации «Черные пантеры».

Малколм Икс (1925–1965), настоящее имя — Малколм Литл. Американский негритянский лидер. Считается героем борьбы афроамериканцев за свои права.

В США в издательство можно представить план (если только это не роман), содержание будущей книги и три-четыре начальные главы, и на основании представленного, издательство может решить, будет ли оно публиковать книгу. В случае одобрения рукописи издательство предоставляет автору аванс для завершения работы.